

ЕГЭ 100

РУССКИЙ ЯЗЫК

• МАТЕМАТИКА •

ФИЗИКА

ХИМИЯ

БИОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ

ЛИТЕРАТУРА

••• ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ •••

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

ИНФОРМАТИКА

• ГЕОГРАФИЯ •

ОГЭ

**СБОРНИК ЗАДАНИЙ
С ЕГЭ 2020
по русскому языку**



ЗАДАНИЕ 4

1. ГрАжданство
2. ДиспАнсер
3. Банты
4. ПрИнял
5. ДождАлась
6. ПозвонИт
7. Договоренность
8. Торты
9. Звонил
10. Цепочка
11. КухОнныЙ
12. Лилась
13. Дешевизна
14. СливовыЙ
15. ОкружИт
16. КрасИвее
17. БрАла
18. Добела
19. Убрала
20. Послала
21. Низведен
22. Щемит
23. Гналась
24. Мозаичный

ЗАДАНИЕ 5

1. Глиняная почва – глинистая почва
2. ЖЕСТОКАЯ пневмония
3. НЕСТЕРПИМАЯ – НЕТЕРПИМАЯ боль
4. Договоренность
5. Безответный – безответственный
6. Двойное чувство – двойственное
7. ГУМАННЫМИ науками – гуманитарными
8. Он казался их НЕОТЪЕМЛЕМЫМ другом
9. ДИПЛОМАТИЧНЫЙ этикет – ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ;
10. Морозная камера – морозильная

11. Родителям из военной части отправили благодарное письмо – благодарственное
12. Коренные – корневые народы

ЗАДАНИЕ 6

1. Передовой авангард
2. Установил рекорд
3. Он умел общаться с людьми так, что сразу возникало чувство, будто он их отъявленный друг
4. Первый дебют
5. Выбирали ПАМЯТНЫЙ сувенир
6. Чтобы достичь успеха, нужно преодолевать приобретенные недостатки
7. В итоге результатов конкурса участникам наградили медали и грамоты
8. Правильное правописание
9. Религиозное вероисповедание

ЗАДАНИЕ 7

1. С повидлой
2. Более красивее – красивый
3. Попробоваем решить
4. Стремительный рост
5. ИХ вместо ИХНИЙ
6. Более угрюмее – угрюмо
7. Сделал впечатление
8. Яблок
9. ПОПРОБОВАЕМ еду – ПОПРОБУЕМ
10. Инженера – инженеры
11. Ляжьте на пол – лягте
12. Полтора – полутора
13. Езжайте вперёд – поезжайте
14. Солдат
15. Обоими столами

ЗАДАНИЕ 13

1. Немилосердный
2. Невнимательность

ЗАДАНИЕ 14

1. Тоже, вследствие
2. Снаружи, изнутри
3. Насчет, тотчас
4. несмотря поэтому
5. чтобы причём

ЗАДАНИЕ 15

1. Искренне, собственность , создана (одна Н)
2. Слова с НН: Соотечестве(1)иков, увере(2)о, естестве(3)ых
3. "точё...ая фигура" и "белё...ые стены"
4. одна Н: изображена, отчаянно, разгоряченных
5. Одна Н в слове построены (другие два слова: постоянный, художественный)

ЗАДАНИЕ 17

1. Мальчик(1) рассказав историю(2) стоял(3) и(4) широко улыбнувшись(5) поправил и зачесал растрепанные ветром волосы

ЗАДАНИЕ 18

1. Что(1) подруженька(2) с тобой?
Вымолви(3) словечко;
Слушай песни круговой;
Вынь себе(4) колечко.
Пой(5) красавица: „Кузнец(6)
Скуй мне злат и нов венец,
Скуй(7) кольцо златое;
Мне венчаться тем венцом,
Обручаться тем кольцом
При святом налое
2. Бессмертное счастье наше
Россией зовется в веках.
Мы края не видели краше,
а были во многих краях.

Но где бы стезя ни бежала,
нам русская снилась земля.
Изгнание, где твоё жало,
чужбина, где сила твоя?

ЗАДАНИЕ 24

Антонимы

1. Внешне, внутренне
2. Вопрос, ответ
3. Слева, справа

Устаревшие слова

1. Издревле

Фразеологизмы

1. Телячьи нежности
2. Во сто крат

ЗАДАНИЕ 25

1. Вот так однажды я лежал под шинелью и представлял в мельчайших подробностях путь на Черное озеро. Мне казалось, что не может быть в жизни большего счастья, чем опять увидеть эти места и пройти по ним, забыв обо всех заботах и невзгодах, слушая, как легко стучит в груди сердце. В этих своих мечтах в кузове машины я всегда выходил из деревенского дома ранним утром и шел по песчаной улице мимо старых изб. На подоконниках в жестянках от консервов цвел огненный бальзамин.

ЗАДАНИЕ 26

1. Метафора, эпитет, риторический вопрос, анафора
2. Сравнение, метафора, вопросительные предложения, вводные конструкции
3. Гипербола, фразеологизм, сравнение, эпитет
4. Гипербола "сто лет молчания", сравнение, эпитет, риторическое восклицание.

5. Эпитет, сниженная лексика (или как-то так), уменьшительно-ласкательные суффиксы и сравнение

ТЕКСТЫ ДЛЯ СОЧИНЕНИЙ

Паустовский К.Г. – Текст про ЯЗЫК

Живое и мертвое слово

Еще в юности я вычитал у какого-то древнего мудреца изречение: «От одного слова может померкнуть солнце».

Я тотчас забыл это изречение и никогда не вспоминал о нем. Но однажды случилось незначительное на первый взгляд событие.

Действительно, после этого события мне показалось, что солнце померкло и скучный сумрак затянул все, что перед этим сверкало вокруг разнообразными красками, светом и теплотой.

Случилось это на Оке, вблизи Рязани, около наплавного моста.

Я перешел по мосту на луговой берег, на пески. От нагретой лозы пахло вялой сладостью. По Оке нехотя проплывало отраженное небо, все в летних белых облаках.

На песчаном пляже сидел человек с сизым затылком, в черном френче и сапогах. Рядом с ним лежал портфель, раздувшийся от бумаг, как откормленный кот.

Посреди реки купались, рыча и повизгивая, два человека.

Неожиданно сидевший на берегу человек сердито закричал:

– Эй, товарищи! Закругляйте купаться!

– Мгновенно, товарищ начальник! – бодро крикнул в ответ молодой человек.

– Лимит времени прошу соблюдать! – снова прокричал человек в черном френче.

Солнце в моих глазах померкло от этих слов. Я как-то сразу ослеп и оглох. Я уже не видел блеска воды, воздуха, не слышал запаха клевера, смеха белобрысых мальчишек, удивших рыбу с моста.

Мне стало даже страшно. Что это? – спрашивал я себя. Шутит ли этот человек или говорит всерьез? Если всерьез, то это отвратительно, а если шутит, то это еще отвратительнее.

Я подумал: до какого же холодного безразличия к своей стране, к своему народу, до какого невежества и наплевательского отношения к истории России, к ее настоящему и будущему нужно дойти, чтобы заменить живой и светлый русский язык речевым мусором.

В сотый раз пришла в голову мысль, что мы – нерадивые потомки своих отцов. Для чего Пушкин, Языков, Лермонтов, Герцен, Толстой, Чехов, Лесков, Салтыков-Щедрин создавали величайший в мире по красоте и здравой образности русский язык? Для чего в тысячах деревень этот язык приобретал меткость, силу, задушевность, блеск и певучесть?

Для чего в этом языке существует неизмеримое количество великолепнейших слов, способных передать все богатство духовного мира нашего человека? И не только духовное богатство, но и все богатства природной жизни страны – ее шумов, ее очарований – от соловьиного боя до гула сосновых вершин и от мгновенной зарницы до жгучей росы на траве.

Для чего был вызван к жизни этот волшебный, свободный, крылатый и живой язык, живой потому, что он всегда выражал живую душу народа? Неужели для того, чтобы свести его к косноязычию, к словарной нищете, к фонетическому безобразию, иными словами – к языку мертвому?

Мне в тот день вообще не везло. В двух километрах от реки на

обочине дороги я увидел фанерный щит, рябой от дождя, с лозунгом:
«Доярки! Выполняйте среднефермские обязательства надоя!»

Солнце вторично погасло в тихом и, казалось, обиженнем небе.

Я лежал на старом сене и почти всю ночь напролет вспоминал стихи разных наших поэтов. Это вернуло мне веру в могущество русского языка, в то, что ничто не сможет убить его, как нельзя убить звезды, воздух, поэзию, великую душу народа.

Русский язык принес нам из далеких времен редкий подарок – «Слово о полку Игореве», его степную ширь и горечь, трепет синих зарниц, звоны мечей.

Этот язык украшал сказками и песнями тяжелую долю простого русского человека. Он был гневным и праздничным, ласковым и разящим. Он гремел непоколебимым гневом в речах и книгах наших вольнодумцев, томительно звучал в стихах Пушкина, гудел, как колокол на башне вечевой, у Лермонтова, рисовал огромные полотна русской жизни у Толстого, Герцена, Тургенева, Достоевского, Чехова, был громоподобен в устах Маяковского, прост и строг в раздумьях Горького, колдовскими напевами звенел в строфах Блока.

Нужны, конечно, целые книги, чтобы рассказать о всем великолепии, красоте, неслыханной щедрости нашего действительно волшебного языка – точного, как алмазный резец, и кружашего голову, как вино.

Русский язык, по существу, дан не одному, а многим народам, и было бы настоящим преступлением перед потомками, человечеством, перед культурой позволить кому бы то ни было искашать его и калечить.

Наш язык – наш меч, наш свет, наша любовь, наша гордость! Глубоко прав Тургенев, сказавший, что такой великий язык мог быть дан только великому народу.

Паустовский К.Г. – Текст про ПОЮЩУЮ ДЕВОЧКУ

Межу прошлой и настоящей жизнью будто встала непроницаемая грозовая туча. И как сквозь мглу этой тучи уже нельзя различить зеленые пригорки и легкие облака, так и за войной не было видно дней прошлого.

"Вернутся ли они? – думала Анфиса. – Конечно, вернутся. Но останется ли все таким, как было?"

От Коли с того дня, как он уехал на фронт, не пришло еще ни строчки. Страшно было вставать по утрам и отгонять от себя мысль, что с ним что-нибудь случилось.

А где Леонтьев? Что с ним? С некоторых пор Анфиса ощущала его отсутствие как потерю жизненной опоры. Этот медлительный человек неожиданно стал ей близким, нужным, и ей уже казалось, что без него ей будет трудно жить. Не с кем будет посоветоваться, некому будет пожаловаться и услышать в ответ, что все будет великолепно. И нельзя уже будет броситься ему на шею, повиснуть на ней и поцеловать колючую, небритую щеку.

Как только выяснилось, что выехать из Ленинграда не удастся, Нина Порфириевна тотчас начала работать в госпитале, а Анфиса поступила в бригаду актеров, обслуживавшую Ленинградский фронт.

Во время одной из гастрольных поездок она простудилась так сильно, что ей пришлось вернуться в Ленинград.

...Пришла блокадная зима. Взрывы тяжело и привычно гремели по городу. Дома обледенели. Жизнь на первый взгляд только теплилась в людях. Но человек жил, и сопротивлялся, и побеждал наперекор всему.

Леонтьевская старушка-работница как-то уснула с утра и больше не проснулась. Лежала она чистенькая, прибранная, с выражением исполненного долга на лице.

Беспокойную таксу давно закопали во дворе и положили на ее могилу кирпич.

Анфису после выздоровления приняли в единственный оставшийся на время блокады в Ленинграде театр. Играли на ледяной сцене. Зрители сидели в тулупах и ватниках и аплодировали, не снимая варежек.

Во время воздушной тревоги все спускались в обширный подвал, и актеры доигрывали пьесу прямо на цементном полу, без декораций.

Анфиса часто оставалась ночевать в театре, в маленькой артистической уборной. Всю ночь за стеной мыши грызли декорации. Особенно они любили выгрызать из пазов столярный клей.

Анфиса ложилась на вычурный диванчик с золочеными ножками, наваливала на себя вороха театральных костюмов и медленно согревалась. Иногда за стеной пианист Метнер играл среди ночи на рояле. Это значило, что Метнер замерзает и старается согреться самым доступным для него способом. Иногда Метнер даже пел. Это пение почему-то успокаивало Анфису, хотя он пел вещи, как будто совершенно неподходившие к обстоятельствам.

Музыка помогала думать. Анфиса думала, что она еще очень молода, а какая большая жизнь уже позади: родной городок, любовь к Коле, Москва, театральная студия, Леонтьев с его дымящейся трубкой и неожиданными поступками, осада, выступления перед бойцами, пожары, розовый от зарева снег, опухшие пальцы...

Она вспоминала прошлое и думала: удалось ли ей за это время одарить хоть кого-нибудь из людей настоящей помощью и радостью? Иначе жизнь теряла смысл, была похожа на безразличное прозябание...

Паустовский К.Г. – Текст про ШЕДЕВРЫ

Распространено мнение, что шедевров немного. Наоборот, мы окружены шедеврами. Мы не сразу замечаем, как освещают они

нашу жизнь, какое непрерывное излучение – из века в век – исходит от них, рождает у нас высокие стремления и открывает нам величайшее хранилище сокровищ – нашу землю.

Каждая встреча с любым шедевром – прорыв в блистающий мир человеческого гения. Она вызывает изумление и радость.

Не так давно в легкое, чуть морозное утро я встретился в Лувре со статуей Ники Самофракийской. От нее нельзя было оторвать глаз. Она заставляла смотреть на себя.

Это была вестница победы. Она стояла на тяжелом носу греческого корабля – вся во встречном ветре, в шуме волн и в стремительном движении. Она несла на крыльях весть о великой победе. Это было ясно по каждой ликующей линии ее тела и развевающихся одежд.

За окнами Лувра в сизом, белесоватом тумане серела парижская зима – странная зима с морским запахом устриц, наваленных горами на уличных лотках, с запахом жареных каштанов, кофе, вина, бензина и цветов.

Лувр отапливается калориферами. Из врезанных в пол красивых медных решеток дует горячий ветер. Он чуть попахивает пылью. Если прийти в Лувр пораньше, тотчас после открытия, то вы увидите, как то тут, то там на этих решетках неподвижно стоят люди, главным образом старики и старухи.

Это греются нищие. Величавые и зоркие луврские сторожа их не трогают. Они делают вид, что просто не замечают этих людей, хотя, например, закутанный в рваный серый плед старик нищий, похожий на Дон-Кихота, застывший перед картинами Делакруа, не может не броситься в глаза. Посетители тоже как будто ничего не замечают. Они только стараются поскорее пройти мимо безмолвных и неподвижных нищих.

Особенно мне запомнилась маленькая старушка с дрожащим испитым лицом, в давно потерявшей черный цвет, порыженной от времени, лоснящейся тальме. Такие тальмы носила еще моя бабушка,

несмотря на вежливые насмешки всех ее дочерей – моих тетушек
Даже в те далече времена тальмы вышли из моды.

Луврская старушка виновато улыбалась и время от времени начинала озабоченно рыться в потертой сумочке, хотя было совершенно ясно, что в ней нет ничего, кроме старого рваного платочка.

Старушка вытирала этим платком слезящиеся глаза. В них было столько стыдливого горя, что, должно быть, у многих посетителей Лувра сжималось сердце.

Ноги у старушки заметно дрожали, но она боялась сойти с калориферной решетки, чтобы ее тотчас же не занял другой. Пожилая художница стояла невдалеке за мольбертом и писала копию с картины Боттичелли. Художница решительно подошла к стене, где стояли стулья с бархатными сиденьями, перенесла один тяжелый стул к калориферу и строго сказала старушке:

– Садитесь!

– Мерси, мадам, – пробормотала старушка, неуверенно села и вдруг низко нагнулась – так низко, что издали казалось, будто она касается головой своих колен.

Художница вернулась к своему мольберту. Служитель пристально следил за этой сценой, но не двинулся с места.

Болезненная красивая женщина с мальчиком лет восьми шла впереди меня. Она наклонилась к мальчику и что-то ему сказала. Мальчик подбежал к художнице, поклонился ей в спину, шаркнул ногой и звонко сказал:

– Мерси, мадам!

Художница, не оборачиваясь, кивнула. Мальчик бросился к матери и прижался к ее руке. Глаза у него сияли так, будто он совершил геройский поступок. Очевидно, это было действительно так. Он

совершил маленький великодушный поступок и, должно быть, пережил то состояние, когда мы со вздохом говорим, что «гора свалилась с плеч».

Я шел мимо нищих и думал, что перед этим зреющим человеческой нищеты и горя должны были померкнуть все мировые шедевры Лувра и что можно было бы отнестись к ним даже с некоторой враждебностью.

Но таково светлое могущество искусства, что ничто не в силах омрачить его. Мраморные богини нежно склоняли головы, смущенные своей сияющей наготой и восхищенными взглядами людей. Слова восторга звучали вокруг на многих языках.

Шедевры! Шедевры кисти и резца, мысли и воображения! Шедевры поэзии!

Горький М. – Текст о ВРЕДЕ ФИЛОСОФИИ

О вреде философии

... Я давно уж почувствовал необходимость понять – как возник мир, в котором я живу, и каким образом я постигаю его. Это естественное и – в сущности – очень скромное желание, незаметно выросло у меня в неодолимую потребность и, со всей энергией юности, я стал настойчиво обременять знакомых "детскими" вопросами. Одни искренно не понимали меня, предлагая книги Ляйеля и Леббока; другие, тяжело высмеивая, находили, что я занимаюсь "ерундой"; кто-то дал "Историю философии" Льюиса; эта книга показалась мне скучной, – я не стал читать ее.

Среди знакомых моих появился странного вида студент в изношенной шинели, в короткой синей рубахе, которую ему приходилось часто одергивать сзади, дабы скрыть некоторый пробел в нижней части костюма . Близорукий, в очках, с маленькой, раздвоенной бородкой, он носил длинные волосы "нигилиста"; удивительно густые, рыжеватого цвета, они опускались до плеч его прямыми, жесткими прядями. В лице этого человека было что-то общее с иконой "Нерукотворенного Спаса". Двигался он медленно, неохотно, как бы против воли; на вопросы, обращенные к нему,

отвечал кратко и не то угрюмо, не то – насмешливо. Я заметил, что он, как Сократ, говорит вопросами. К нему относились неприязненно.

Я познакомился с ним, и, хотя он был старше меня года на четыре, мы быстро, дружески сошлись. Звали его Николай Захарович Васильев, по специальности он был химик.

– Ты – человек, каким я желаю тебе оставаться до конца твоих дней. Помни то, что уж чувствуешь: свобода мысли – единственная и самая ценная свобода, доступная человеку. Ею обладает только тот, кто, ничего не принимая на веру, все исследует, кто хорошо понял непрерывность развития жизни, ее неустанное движение, бесконечную смену явлений действительности.

Он встал, обошел вокруг стола и сел рядом со мною.

– Все, что я сказал тебе – вполне умещается в трех словах: живи своим умом! Вот. Я не хочу вбивать мои мнения в твой мозг; я вообще никого и ничему не могу учить, кроме математики, впрочем. Я особенно не хочу именно тебя учить, понимаешь. Я – рассказываю. А делать кого-то другого похожим на меня, это, брат, по-моему, свинство. Я особенно не хочу, чтобы ты думал похоже на меня, это совершенно не годится тебе, потому что, брат, я думаю плохо.

Он бросил папиросу на землю, растоптав ее двумя слишком сильными ударами ноги. Но тотчас закурил другую папиросу и, нагревая на огне спички ноготь большого пальца, продолжал, усмехаясь невесело:

– Вот, например, я думаю, что человечество до конца дней своих будет описывать факты и создавать из этих описаний более или менее неудачные догадки о существе истины или же, не считаясь с фактами – творить фантазии. В стороне от этого – под, над этим – Бог. Но – Бог – это для меня неприемлемо. Может быть, он и существует, но – я его не хочу. Видишь – как нехорошо я думаю. Да, брат... Есть люди, которые считают идеализм и материализм совершенно равноценными заблуждениями разума. Они – в положении чертей, которым надоел грязный ад, но не хочется и скучной гармонии рая.

Он вздохнул, прислушался к пению виолончели.

– Умные люди говорят, что мы знаем только то, что думаем по поводу видимого нами, но не знаем – то ли, так ли мы думаем, как надо. А ты – и в это не верь! Ищи сам...

Я был глубоко взволнован его речью, – я понял в ней столько, сколько надо было понять для того, чтобы почувствовать боль души Николая. Взяв друг друга за руки, мы с минуту стояли молча. Хорошая минута! Вероятно – одна из лучших минут счастья, испытанного мною в жизни.

Паустовский К.Г. – Текст "Городок на реке"

Вообще, ошибочные мнения бывают обычно очень живучими. Они существуют сотни лет и с трудом выветриваются из нашего сознания.

До революции все маленькие города было принято считать захолустьем, где жизнь течет скучно и сонно. И теперь это представление о маленьких городах, так называемых «райцентрах», почти не изменилось. Считают, что они, конечно, далеко отстают от больших городов и по культуре, и по благоустройству.

Самое название «райгород» и «райцентр» дает богатую пищу для шутников и зубоскалов. Они называют их «райскими городами» и «райскими центрами» и острят по поводу того, что в этих городах мало признаков земного рая.

Все это – болтовня.

Я живу в одном таком маленьком городе на Оке. Он так мал, что все его улицы выходят или к реке с ее плавными и торжественными поворотами, или в поля, где ветер качает хлеба, или в леса, где весне буйно цветет между берез и сосен черемуха.

Городок этот вплотную входит в сельскую жизнь. Гул тракторов по окрестным полям сливаются с пронзительными и требовательными гудками окских буксиров. Обширные огороды окружают городок буйной зеленью, цветением картошки, запахом помидорных листьев.

С берега Оки во все стороны открываются сияющие дали, близкие и далекие планы лесов – от светлых и серебрящихся под солнцем до загадочных и темных, сохранивших в своей глубине журчание ручьев и шумящие кроны столетних дубов и сосен.

Но городок хорош не только этим. Он хорош своими людьми – талантливыми и неожиданными, трудолюбивыми и острыми на язык. Я просто перечислю нескольких жителей этого городка, и станет ясно, что слова о захолустье не выдерживают критики.

Если бы были живы такие писатели, как Лесков или Мельников-Печерский, то городок на Оке дал бы им богатую пищу для рассказов о простом и замечательном русском человеке.

Лесков написал как будто анекдотичный рассказ о тульском мастере Левше, который подковал блоху. Но это совсем не анекдот и не забавный случай. В каждом городке есть свои Левши. Есть они и в нашем.

Живет в нем слесарь Яков Степанович – изобретатель и поэт по душе. Он может сделать все, – как говорится, «и небо и землю». Из всякого металлического лома и утиля он собрал мотоцикл, изобрел машину для посадки деревьев в лесах и, между прочим, склепал проволокой сломанный зубной протез одному старичку. И тот носил его еще много лет. Потом, говорят, этот протез взяли в краевой музей как образец тончайшего мастерства.

Яков Степанович – человек до всего любопытный, вникающий в суть любого дела и неслыханно скромный.

Есть еще в нашем городке печник Митя – слабый здоровьем и насмешливый, кладущий печи по своему способу – виртуозно и быстро. Оказывается, в печном деле есть свои секреты, свои законы, и нет у Мити ни одной печи, похожей одна на другую.

Никто так точно, как он, не знает законов тяги и нагрева кирпичей, не знает всей сложности русской печи и всей практичности «унтермарка». Споры Мити с другими печниками, все его разговоры о

печах слушаешь, как живописное исследование, иной раз – как поэму. По словам Мити, мастер без выдумки, без воображения есть «фитюлька» и халтурщик.

Таких мастеров с воображением есть много в любой области. Человек сам создает вокруг своей работы поэтическое состояние. От этого работа спорится и просто сверкает в его руках.

Есть плотники, работающие топором с такой чистотой, что стук топора под их рукой звучит, как бравурный марш.

Есть столяр Николай Никитич – знаток птиц. Больше всего он любит делать скворечники и птичьи клетки. Каждая вещь, что выходит из его рук, – «игрушка». Его клетки – это просто птичьи дворцы с мезонинами, антресолями, балкончиками и верандами. В этих клетках, будь они немного побольше, хочется пожить и человеку. Они обточены, нарядны и воздушны.

Николай Никитич сам ловит птиц по веснам на так называемый «птичий клей» секретного состава. Он смазывает им ветки деревьев, и птицы просто прилипают к этим веткам без всякого вреда для себя.

Николай Никитич больше всего любит щеглов – разноцветных и нарядных птиц, похожих издали на порхающие цветы. Очевидно, от нарядности этой птицы и произошло слово «щеголеватый».

Голосам птиц Николай Никитич подражает, не имитируя их, а придумывая иной раз слова и целые фразы, которые лучше всего передают пенье и чириканье птиц. Так, чиж, по словам Николая Никитича, поет: «Пили кофе, пили ча-а-ай!», щегол кричит: «Стриглик, стриглик», а щур никак не может признаться своей подруге в любви и только заикается: «Влю-влю-влю-влив-влив».

В городке есть вышивальщицы, если можно так выразиться, с европейским именем. Их работа восхищала зрителей на разных выставках, особенно на Международной выставке в Брюсселе.

Вблизи Оки живут знатоки речного дела – промеров фарватера, постановки бакенов и буксировки барж при малой воде.

Да всех не перечислишь. Живет у нас бывший корабельный врач – быстрый и строгий старик, большой знаток музыки, обладатель богатой исторической библиотеки. Есть садовод, ухитрившийся вырастить в Срединной России субтропические деревья.

К городку этому давно тяготеют художники и писатели. В какой-то мере он уже становится литературным и художественным подмосковным центром. Хотя и небольшим, но все же центром.

Имена Поленова, Крымова, Борисова-Мусатова, Ватагина, скульптора Матвеева тесно связаны с городком. На многих полотнах этих художников вы увидите самые трогательные уголки нашего городка.

В городок часто приезжают работать и подолгу живут в нем писатели и поэты, особенно молодые. Сплошь и рядом можно услышать из открытых окон, из садов и палисадников разговоры и споры о Пикассо или последней книге Каверина, о Сарыяне и пьесе Арбузова.

В этом городке жил незадолго до смерти замечательный наш поэт Заболоцкий. Он оставил несколько прекрасных стихотворений о городке, о ясности окружающей природы – очень русской, очень мягкой и очень разнообразной. Особенно хороши «Вечера на Оке». В очарованье русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она
Открыта не для каждого и даже
Не каждому художнику видна.

Богомолов В.О. – Текст "День выдался отменный"

День выдался отменный. Солнце сияло и грело, но не пекло нещадно, как всю последнюю неделю. От земли, от высокой сочной луговой травы поднимался свежий и крепкий аромат медвяных цветов и росы; в тишине мерно и весело, с завидной слаженностью трещали кузнечики.

Голубые, с перламутровым отливом стрекозы висели над самым зеркалом воды и над берегом; я было попытался поймать одну, чтобы рассмотреть хорошенько, но не сумел.

С удовольствием вдыхая чудесный душистый воздух, я медленно шел
<https://vk.com/ege100ballov> – Готовимся к ЕГЭ вместе!

вдоль берега, глядел и радовался всему вокруг.

Как может перемениться жизнь человека! Просто даже не верилось, что еще недавно я, изнемогая от жары, напряжения и жажды, сидел в пулеметном окопчике на высоте 114 (я стрелял лучше других и в бою, когда мог, всегда брался за пулемет) и короткими отрывистыми очередями косил рослых, как на подбор, немцев из танковой гренадерской дивизии СС "Фельдхернхалле", перебегавших и упрямо ползших вверх по склону.

Как-то не верилось, что совсем недавно, когда кончились патроны, не осталось гранат и десятка три немцев ворвались на высоту в наши траншеи, я, ошалев от удара прикладом по каске и озверев, дрался врукопашную запасным стволом от пулемета; выбиваясь из сил и задыхаясь, катался по земле с дюжим эсэсовцем, старавшимся – и довольно успешно – меня задушить, а затем, когда его прикончили, зарубил немца-огнеметчика чьей-то саперной лопаткой.

Все это было позавчера, но оттого, что я сутки спал и только проснулся, оттого, что это были самые сильные впечатления последних дней, мне казалось, что бой происходил всего несколько часов тому назад.

Я не удержался, раскрыл на ходу томик и начал было вполголоса читать, однако тут же решил покончить сперва со всем малоприятным, но неизбежным. На небольшом песчаном пляжике я скинул сапоги, быстро разделился и дважды старательно выстирал грязные, пропитанные потом, пылью, ружейным маслом и чьей-то кровью гимнастерку и шаровары, ставшие буквально черными портянки и пилотку. Затем, крепко отжав, развесил все сушиться на ветках орешника, спустился в воду и, простирув самодельные плавки, начал мыться сам. Я намылился и со сладостным ожесточением принял скрести ногтями голову и долго скоблил и тер все тело песком, пока кожа не покраснела и не покрылась кое-где царапинками. Последний раз я мылся по-настоящему недели три назад, и вода около меня, как и при стирке, сразу сделалась мутновато-темной.

Потом я плавал и, ныряя с открытыми глазами, гонялся в прозрачной воде за стайками мальков и доставал со светлого песчаного дна раковины и камешки; самые из них интересные и красивые я отобрал,

решив, пока мы будем здесь находиться, составить небольшую коллекцию. Дома, в Подмосковье, у меня хранился в сенцах целый сундук всяких необычных камешков и раковин – собирать их я пристрастился еще в раннем детстве.

Немного погодя я вышел на берег, ощущая бодрость и приятную легкость во всем теле и чувствуя себя точно обновленным. Перевернув на ветках орешника быстро сохнувшие гимнастерку и шаровары, я со спокойной душой взял наконец книжку.

Я любил и при каждой возможности читал стихи, но Есенина открыл для себя недавно, когда в начале наступления, в развалинах на окраине Могилева, нашел этот однотомник; стихи поразили и очаровали меня.

На передовой я не раз урывками, с жадностью и восторгом читал этот сборничек, то и дело находя в нем подтверждение своим мыслям и желаниям; многие четверостишия я знал уже наизусть и декламировал их (чаще всего про себя) к месту и не к месту. Но отаться стихам Есенина безраздельно, в покойной обстановке мне еще не доводилось.

Я начал читать, то заглядывая в книжку, то по памяти; начал с ранних, юношеских стихотворений:

...Ах, поля мои, борозды милые,

Хороши вы в печали своей!

Я люблю эти хижины хилые

С поджиданьем седых матерей.

...Ой ты, Русь, моя родина кроткая,

Лишь к тебе я любовь берегу.

Весела твоя радость короткая

С громкой песней весной на лугу.

Гранин Д. – Текст про Лосева "Дождь застиг Лосева на Кузнецком мосту"

Дождь застиг Лосева на Кузнецком мосту. Чтоб не мокнуть, Лосев зашел на выставку. До начала совещания оставалось часа полтора. Не торопясь он ходил из зала в зал, отдыхал от московской мельтешни. После мокрых весенне–холодных улиц, переполненных быстрыми столичными людьми, здесь было тихо, тепло. Больше всего Лосева угнетало в Москве невероятное количество народу, которое толкалось в любом учреждении, у любого прилавка, в каждом кафе, в каждом сквере. Даже здесь, на выставке, несмотря на простор, Лосева все же удивляли посетители — что за люди, почему бродят здесь в рабочее время. Большей частью женщины. Тоже примечательно, поскольку и у себя в городе на культурных мероприятиях Лосев заметил, что в зале сидят главным образом женщины. И то, что в столице имело место то же явление, отчасти успокаивало Лосева, отчасти же было достойно размышления.

Он шел вдоль стен, обтянутых серой мешковиной. Грубая, дешевая материя выглядела в данном случае весьма неплохо. Что касается картин, развешанных на этой мешковине, у Лосева они не вызывали интереса. Лично он любил живопись историческую, например, как Петр Первый спасает солдат, или Иван Грозный убивает сына, или же про Степана Разина, также батальные сцены — про гражданскую войну, партизан, переход Суворова через Альпы, да мало ли. Нравились ему и портреты маршалов, полководцев, известных деятелей искусства. Чтобы картина обогащала знаниями. Здесь же висели изображения обыкновенных стариков, подростков, разложенных овощей и фруктов с разными предметами, рисунки на бумаге, множество мелких картин в простых крашеных рамках. Лосев не мог представить себе, куда они все деваются после выставки, где находились до нее и вообще какой смысл создавать их для такого временного назначения. Музеи — другое дело, в художественных музеях Лосев неоднократно бывал, на подобных же выставках не приходилось. И сейчас он убеждался, что вряд ли от этого он что-либо потерял. Иногда, разглядывая московские витрины, он поражался количеству ненужных для него предметов. Сколько существовало ненужных для обычного человека тех же выставок, и

всех организаций, и мероприятий...

Неожиданно что-то словно дернуло Лосева. Как будто он на что-то наткнулся. Но что это было — он не понял. Кругом него было пусто. Он пошел было дальше, однако, сделав несколько шагов, вернулся, стал озираться и вновь почувствовал смутный призыв. Исходило это от одной картины, чем-то она останавливалась. Осторожно, стараясь не утерять это чувство, Лосев подошел к ней — перед ним был обыкновенный пейзаж с речкой, ивами и домом на берегу. Название картины, написанное на латунной дощечке — «У реки», — ничего не говорило. Лосев попробовал получше рассмотреть подробности дома и постройки. Но вблизи, когда он наклонился к картине, пространство берега со всеми деталями стало распадаться на отдельные пятна, которые оказались выпуклыми мазками масляных красок со следами волосяной кисти.

Лосев попятился назад, и тогда, с какого-то отдаления, пятна слились, соединились в плотность воды, в серебристо-повислую зелень, появились стены дома, облупленная штукатурка... Чем дальше он отходил, тем проступали подробнее — крыша, выложенная медными листами с ярко-зелеными окислами, труба, флюгер... Проверяя себя, Лосев стал возвращаться к картине, пока не толкнул девицу, которая стояла с блокнотом в руках.

— Картины не нюхать надо, а смотреть, — сказала она громко и сердито, не слушая его извинений.

— Ну конечно смотреть, вот я и засмотрелся, — простодушно сказал он. — Я плохо разбираюсь, может вы поясните. — Это он умел, обезоруживать своей уступчивостью, открытостью.

— Что именно? — сухо спросила девица.

— Тут написано «У реки». А что за река? Как ее название?

Девица усмехнулась.

— Разве это имеет значение?

— Нет уж, вы позвольте, — поглядывая на картину и все более беспокоясь, сказал Лосев. — Очень даже имеет. Мало ли рек. Это же конкретно срисовано.

Она, снисходя, улыбнулась на эти слова, оглядела его аккуратно застегнутый костюм, галстучек, всю его провинциальную парадность.

— Ну что изменится, если вам напишут название реки?

Оно ничего не добавит, это просто пейзаж.

— Как так — просто. Очень даже изменится. Как вы не понимаете!

Лосев оторвался от картины, изумленно посмотрел на девицу. Длинный свитер, короткая кожаная юбочка, прямые волосы отброшены на плечи; несмотря на свой небрежный наряд, она выглядела уверенной в себе, нисколько не чувствуя своей бесцелковости.

— И так не говорят: срисовано, — поучительно пояснила она. — Это был большой мастер, а не ученик. Для него натура являлась средством, вернее поводом, обобщить образ, — тут она стала произносить еще какие-то слова, каждое из которых было Лосеву известно, но, складываясь в фразу, они почему-то теряли всякую понятность.

— Здорово вы разбираетесь. — Лосев вздохнул, показывая восхищение. — Все же хорошо бы выяснить название. Образ хоть и обобщенный, а местность-то можно ведь уточнить, как по-вашему?

— Вряд ли... Попробуйте у консультанта.

Однако консультант куда-то отлучилась. Лосев еще прошелся, проверяя другие картины, но ничего подобного той не нашел... Девица в свитере издали поглядывала на него. Он вернулся к ней.

— Концов не найдешь. Безответственный народ эти художники.

— А в чем, собственно, дело?

— В том, что незачем зашифровывать.

— Не понимаю.

Он строго посмотрел на нее, как будто она была виновата.

— Надо точно указывать в названии.

Лицо у нее от носа стало краснеть, краска разлилась по щекам.

— Какого черта вы прицепились. Ходят тут!.. — с яростью прошипела она. — Оставьте его в покое. Хватит. Вам-то что? Вы же ничего не смыслите в живописи. Что вы имеете к этой работе? Ну?.. Самое безобидное выставили, нет, опять плохо...

Какая-то жилка у нее на шее дрожала, зрачки сузились, уперлись в лицо Лосеву, так что он попятился и только на улице опомнился, стал придумывать от обиды всякие хлесткие ответы, пока не заподозрил, что гнев ее относился к кому-то другому.

Нагибин Ю.М. – Текст про сына и мать

Мать выращивала его на холоду. Он не видел своего отца, погибшего в гражданскую войну. Мать не любила разговора об отце. Мать взяла на себя всю полноту ответственности за сына и не нуждалась в моральной поддержке ушедшего.

Все же мать опасалась, что на характере сына скажется отсутствие мужской близости. Кравцов прошел спартанскую выучку. С тех пор как он себя помнил, ему было заказано плакать и жаловаться. Он приучился жить с сухими глазами. Он и сам никогда не видел мать плачущей. Даже когда уходил на фронт, мать не дрогнула. «Ну, счастливо, сынок. Пиши», — и до двери не проводила, в окошко не выглянула. Мать никогда не целовала его, даже маленького, даже поздравляя с днем рождения. Она крепко пожимала ему руку и

вручала подарок. Сто лет молчания — это о них, об их жизни, такой тесной жизни в крошечной комнате старого замоскворецкого дома. То было не молчание сухости, равнодушия, а молчание слишком сильной, пронзительно сильной любви, боящейся погубить родного человека слабостью, жалостью, слезным распадом. Если б рядом был отец, мать, возможно, была бы другой. Но не существовало противовеса женскому, нежному, и она стала как железо.

Кравцов вовсе не чувствовал себя обделенным. Конечно, он видел, что у его товарищей другие отношения с родителями, но не завидовал им, а с легкой брезгливостью наблюдал их телячьи нежности. Ему было безмерно интересно с матерью. Она неутомимо открывала ему мир — в природе, книгах, искусстве, окружающих и ушедших людях, в истории, географии, археологии, воспитывая в нем чувство мирового бытия, а не бытового существования. Его всегда удивляло, откуда мать, недоучившаяся гимназистка, техническая переводчица, так много знала.

О чем бы они ни говорили с матерью — пережитом или прочитанном, над чем бы ни трудились сообща, будь то предмайская уборка комнаты, возделывание огородной грядки, засолка груздей и рыжиков или сборы его в армию, — между ними творился неслышный обмен, возводивший обыденность в ранг высшей жизни. И все же сто лет молчания были их уделом. Сколько нежности они подавили в себе, сколько жалких, глупых, ненужных и необходимых слов замолчали, сколько заморозили слез, сколько оборвали душевных движений!

Гроссман В.С. – Текст про КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

Красноармейцы лежали за деревьями, в кустах, в высокой не снятой конопле и слушали, напряжённо всматривались в ясный утренний воздух, лишь местами темневший от дыма и земной пыли.

О, как хороша была в эти минуты земля! Как благостны казались людям её тяжёлые складки, жёлтые пригорки, овражки, поросшие репейником и пыльными лопухами, лесные ямы. Какой чудесный запах шёл от земли — лиственной прели, сухой пыли и влажной лесной сырости, запах мирного праха и грибов, сухих ягод и

многажды превшего и вновь высыхавшего хвороста. Ветер приносил с поля тёплый и печальный запах вянущих цветов и сохнувших трав; в полутьме леса, внезапно пронзаемой солнечным светом, вдруг пыльной радугой заблестит увлажнённая росой паутина, словно дохнёт чудо спокойствия и мира.

Вот лежит, уткнувшись лицом в землю, Родимцев. Спит он, что ли? Нет, его глаза внимательно смотрят в землю, на стоящий подле куст шиповника. Он шумно дышит, втягивает в себя запах земли. Он смотрит с интересом, жадно и почтительно на дела, происходящие вокруг него: муравьи колонной идут неясным для человеческого глаза трактом, волокут сухие травинки, палочки. «Может быть, у них тоже война, — думает Родимцев, — вот и ползут колонны мобилизованных на строительство рвов и укреплений. Или это хозяин ставит себе новый дом, и тянутся плотники, штукатуры на работу...»

Огромен мир, который видят его глаза, чует ухо, втягивают с воздухом ноздри. Аршин земли на опушке леса, куст шиповника. Как велик этот аршин земли. Как богат этот отцветший куст! По сухой земле тонкой молнией прошла трещина, муравьи проходят по мосту, в строгом порядке один за другим, а по ту сторону трещины терпеливо выжидают встречные. Божья коровка, толстая, в красном сарафане, мечется, ищет перехода. Ох ты! Полевая мышь блеснула глазом, привстала на задние лапки и прошуршала среди травы, словно и не было её здесь. Подул ветер, и трава гнётся, пригибается, каждая по-своему, одна покорно, быстро ложится к земле, другая упрямо, сердито дрожит, топорщится своим бедным тощим колосом — воробыиным житом. А на кусте шевелятся ягоды шиповника — жёлтые, красноватые, закалённые солнцем, словно глина огнём. Давно уже, видно, брошенная хозяином паутина мотается на ветру, в ней запутались сухие листья, кусочки коры, в одном месте она обвисает под тяжестью свалившегося в неё жолудя. Она — точно невод, выброшенный на берег после гибели рыбака.

А сколько такой земли, леса, сколько бесчисленных аршин, где жизнь! Сколько зорь, краше, чем эта, были в жизни Родимцева, сколько летних быстрых дождей, сколько птичьего крика,

прохладного ветра, ночного тумана! Сколько работы! А какие были славные часы, когда он приходил с работы, и жена сурово, но с душевной любовью, спрашивала: «Обедать будешь?» И он ел мятую картошку с постным маслом и глядел на своих детей, на загорелые руки жены в спокойной духоте избы. А сколько жизни впереди! Много ли? Ведь всё может кончиться вот теперь, минут через пяток. И сотни красноармейцев лежат так — думают, вспоминают, смотрят на землю, на деревья, кусты, вдыхают запах утра. Нет лучше в свете этой земли!

Игнатьев задумчиво говорит товарищу:

— Слышал я, как-то два лейтенанта–зенитчика между собой говорили: вот война идёт, а кругом сады, птицы поют, им вроде и дела нет до наших делов. Вот я всё думаю: это неправильно, не увидели лейтенанты сути. Война эта всей жизни коснулась. Ты возьми лошадей — чего только не терпят! Или, помню, стояли мы в Рогачёве: там все собаки по тревоге в погреба лезли, суку одну я приметил — собачат в щель прятала, а как налёт кончится — обратно гулять выводила. Ну, а птица — гуси, куры, индюшки, — разве они от немца не терпят? И тут, кругом, в лесу, я примечаю, птица пугаться стала — чуть самолёт летит, тучей поднимаются, галдят, шумят, мечутся. Сколько леса пропало! Сколько садов! Или вот я сейчас думал: идёт бой на поле, мы тут залегли, под тысячу человек, — всех этих муравьев да комарей кувырком вся жизнь пошла. А если немец газ пустит, а мы ему в ответ — тут же по всем лесам да полям жизнь перевернётся — и до мышей, и до ежей, до всех война доберётся, начнёт козявка да птица задыхаться, куда ей деться?

Песков В. – Текст про ДНЕПР

Веками Днепр с притоками был водной дорогой с юга на север, главной частью знаменитого водного пути "из варяг в греки".

А начинается этот поныне жизненосный поток воды с ручейка, текущего из болота. Надо пройти отсюда лесами шестьдесят километров, прежде чем у сельца Нахимовского можно увидеть на Днепре первую лодку. А потом пойдут лодки и катера, теплоходы, мосты, пристани, паромные переправы, селенья по берегам, и потом — города, города — маленькие и большие, среди которых на карте

увидим Смоленск, Могилев, Киев, Черкассы, Днепропетровск, Запорожье, Канев, Херсон. Речные притоки синими жилами льются к Днепру, сообщая ему все большую мощь – Сож, Припять, Десна, Псёл, Ворскла...

В верхнем лесном течении Днепр скромен и тих. Всегда тихими были тут и молитвы, песни, поклоны Днепру. Другое дело места, где река становится сильной и величавой, где от нее зависит многое – транспорт, утоление жажды, сельское хозяйство, рыболовство, получение электричества. Тут издавна Днепру поклонялись как божеству, называли его Славутичем ("сыном славы"). Днепру посвящали сказания, песни, слагали стихи и писали картины. Вспомним знаменитые холсты Куинджи "Ночь на Днепре" или "Степь" с черточкой орла в небе, с малиновым цветом степных растений и текущим в знойном мареве дня Днепром. Вспомним восторг Гоголя – "редкая птица долетит до середины Днепра..." И строчку Тараса: "Реве та стогне Дніпр широкий..." И во все времена, как и многие реки, Днепр служил рубежом стычек и местом сражений в великих войнах. Самые значительные из них в человеческой памяти, в документах и песнях не позабыты – "Кто погиб за Днепр, будет жить в веках..."

После пораженья у Курска в 1943 году немецкое воинство надеялось закрепиться на кручах днепровского правого берега и остановить лавину уже обретших крылья Победы защитников нашей земли от захватчиков. Обе стороны понимали значение разделявших две силы водной преграды. Немцы назвали днепровскую линию обороны Восточным валом. А Красная Армия была способна решительно сокрушить этот вал.

Много написано о сражении на Днепре, много героев войны получили Золотую Звезду за то, что, не щадя жизни, стремились на правый берег. И победили. Сраженье было великим. Языком Гоголя можно сказать: вода в Днепре кипела от взрывов и текла красной от крови.

И было еще одно сражение на Днепре двумя годами ранее – в 41-м. Решалась судьба Смоленска, который всегда считали ключом к

Москве. Город был обречен, но надо было так измотать наступавших, чтобы ослабить главный удар. Наши войска дрались почти в окружении. Снабжение их проходило по переправе через Днепр у селения Соловьёво. Именно это место стало самой драматической точкой в смоленском сражении. Можно вообразить, что было тут в горьком июле 65 лет назад – сотни повозок, автомобилей, тягачей, пушек, ящиков со снарядами и патронами, продовольствием, тысячи людей плотной нетерпеливой массой сбились на левом берегу Днепра. Переправу непрерывно бомбили и поливали свинцом висевшие над рекой "мессершмитты" и "юнкеры". С юга и севера по реке давили сухопутные силы фашистов. Дело доходило до стрельбы прямою наводкой по переправе. Сколько тут полегло, не знает никто. "Это был ад", – рассказывала мне жительница Соловьёво Мария Андреевна Мазурова.

27 июля синие стрелы немецких ударов на картах сошлись. Днепровская переправа оказалась в руках у врага. Это означало полное окружение дравшихся у Смоленска армий. Теперь переправляться надо было уже на левый, восточный берег. Но предстояло отбить у врага переправу... Больше недели вертелась мельница смерти у Соловьёво. С 4 на 5 августа измотанные боями, но сохранившие честь и знамена две наши армии, перейдя Днепр, соединились с основными силами фронта...

Я побывал на этом месте Днепра. Река у Соловьёво неглубока – ребятишки, как видите, вброд ее переходят. В Москве в тот же год разыскал я Веру Ивановну Салбаеву – участницу решающей схватки за переправу. "Да, тихо и ласково течет Днепр, – сказала Вера Ивановна, глядя на снимок. – А тогда все кипело и висело на волоске. С криком "За мной!" я поднялась как раз в этом вот месте с пистолетом в руке. А в нем, страшно сказать, не было уже ни одного патрона".

Вера Ивановна прошла войну до Берлина. Переправлялась через Днепр уже в 43-м году начальником связи в поезде маршала Жукова. Имеет двенадцать наград. Разглядывая ее ордена, я спросил, какой ей дороже. "Вот этот, за Днепр..." И заплакала.

Все это я вспомнил у костерка в стороне от истока, когда варили обед. Тут и решили: доску в знак посещенья Истока поставить шагах в двадцати от места, названного колыбелью Днепра. Спилили мы на опушке сосну, ошкурили и прочно вогнали в землю столбы, укрепив на них из Саранска привезенную доску. Было нас четверо: саранские мужики – мастер-реставратор Анатолий Яковлевич Митронькин, его шофер Владимир Косынкин, давний мой спутник, редактор "Муравейника" Николай Старченко и я – журналист "Комсомолки".

После съемки на память сходили мы попрощаться с Истоком. Вернувшись к машине, оглядели доску со стороны и порадовались, что обошлись без многословия: "Тут начинается Днепр".

Быков В. – Текст про ИСКУССТВО, воспоминания о войне

Когда-то в годы войны мы, молодые тогда люди, познавшие жизнь именно в форме жестокой войны, привыкнув к ней, даже не замечали ее постоянно и незримо давящего на сознание пресса, мы сжились с ним и просто не могли себя ощущать иначе. И только 9 мая 1945 года, когда этот пресс вдруг исчез, мы не столько поняли, сколько неожиданно для себя почувствовали, от чего избавились. Прежде всего от неопределенности нашей судьбы. Впервые за годы войны жизнь обрела для нас значение смысла и избавилась от власти случайного. Но ведь многие не дожили до этого дня, не дошли до Победы и – что меня давно поражает – не то, что они погибли, это слишком банально на войне – а то, что, погибнув, они так и не узнали об окончании этой войны. Погибли в неведении. И до сих пор пребывают в оном. Никогда не узнают, о, может быть, самом важном из всего, что в течение ряда лет занимало на земле умы миллионов людей.

Говорят, что культура – это память человечества. Это правильно. Все дело, однако, в том, что следует помнить, – ведь человеческая память избирательна, а искусство уже в силу своей природы избирательно тем более. Например, что касается войны, то один из ее участников из всего пережитого наиболее ярко запомнил, как его догоняли, хотели убить, но промахнулись, и он до сих пор вскакивает по ночам в холодном поту. Другой – как его награждали орденом, и он спустя годы не перестает переживать радостные волнения по

этому поводу. Третьему не дает покоя случай, когда рассерженное начальство назвало его «дураком».

Теперь нередко можно услышать от наших читателей, в том числе и ветеранов, суждения вроде: «Ну сколько можно перелопачивать одно трудное да кровавое, ведь были же на войне и веселые моменты, и шутка, и смех». То есть на первый план выходит все то же желание развлечься. Но ведь во все времена жаждущие развлечений шли на торжища, в скоморошный ряд, но никогда — во храм. Боюсь, что смешение жанров и особенно забвение высоких задач литературы грозят уравнять торжище с храмом, сделать искусство товаром ширпотреба, средством, стоящим в ряду с продукцией мебельщиков — не более.

Я думаю также, что, хотя мы, допустим, и не гениальные писатели, но уж, во всяком случае, квалифицированные читатели. То есть относительно хорошо знаем жизнь, чтобы разбираться в ее запутанных эмпириях и кое-что смыслим в литературе. И тут возникает любопытный парадокс: почему мы, люди, в силу своего воспитания и образа жизни зачастую далекие от крестьянских низов, от жизни «неперспективных» деревень, быта древних стариков и старух, мало или вовсе неграмотных отшельников в зачастую никогда не виданной нами дремучей тайге с их размеренным, однообразным и часто примитивным укладом, почему мы частенько с куда большим интересом и участием читаем о их делах и заботах, нежели о блестящих научных или служебных успехах тех, кто гораздо ближе нам по опыту жизни, мировоззрению, мироощущению — высокообразованных жрецов науки, искусства, руководителей, генералов, начальников главков. Почему безграмотный дед на колхозной бахче куда интереснее изъездившего мир дипломата, определяющего судьбы народов, в то время как наш дед не может удовлетворительно определить судьбу единственной своей буренки, оставшейся на зиму без сена. О том печаль его, и она нас трогает больше, чем драматические переживания упомянутого дипломата перед уходом на вполне заслуженный отдых с солидной пенсией и статусом пенсионера союзного значения. Почему солдат в окопе для меня как читателя во многих (если не во всех) отношениях предпочтительнее своей судьбой удачливому маршалу в блеске его

снаряжения, штаба и его маршальского глубокоумия? Почему так? — хочу я задать вопрос уважаемым коллегам, хотя и предвижу их скорый ответ: все дело в таланте автора. Да, но не совсем. Истинность таланта великолепно проявляется уже в выборе героя, который и внушает нам вышеизложенные чувства. Исчерпывающий же ответ на этот вопрос мне, однако, неведом.

Паустовский К.Г. – Текст про ЯЗЫК

Где бы вы ни были – в городе или в деревне, в вагоне поезда или на палубе речного парохода, на севере или на юге России, в лесу или на степном большаке, – всюду прислушивайтесь к русскому языку, к певучему народному говору, запоминайте и впитывайте в себя этот единственный по богатству, образности и поэтичности язык – поистине самый свободный и волшебный из всех языков мира.

С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в окружающей нас жизни и в нашем сознании, чего нельзя было бы передать русским словом. И звучание музыки, и спектральный блеск красок, и шум и тень садов, и сказочное – сновидения, и тяжелое громыхание грозы, и детский лепет, и заунывный ропот прибоя. И гнев, и великую радость, и скорбь утраты, и ликование победы.

Нет таких мыслей, понятий, звуков, красок и образов – и сложных и простых, – для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения.

Прав был Тургенев, когда говорил, что такой язык может быть дан только великому народу.

Русский язык – народен. Он является наилучшим выражением сущности русского человека. Из народных глубин, из подчас непрослеженных и неведомых истоков расцвел этот изумительный язык. И сколько бы мы его ни изучали, как бы мы ни определяли законы его образования, он всегда будет производить на нас впечатление радостного чуда.

С чем сравнить это впечатление? Недавно на рассвете я шел в глухих лугах вблизи Оки. Густой туман лежал над лугами и оседал росой на

травах. Внезапно среди однообразной зелени этих трав в белой пелене тумана я увидел очень высокий огненный цветок. Он как бы зажег на заре свое душистое пламя и раскрывался, расцветал у меня на глазах. Он весь сверкал от росы, и только тут я заметил, что туман лежит низко, а огненный этот цветок стоит выше тумана и на него уже упал первый луч солнца.

Сейчас, когда я вспоминаю об этом, то почему-то этот цветок, выросший на простой и даже грубой нашей земле, кажется мне прообразом русского языка, сверкающего своим живым горячим блеском над остальными языками мира.

Вслушайтесь в звучание самых простых русских слов, и вы тогда уловите звуковое богатство языка.

Образцов звукового богатства можно привести множество. Можно раскрыть наугад книгу любого русского поэта или прозаика, такого, скажем, как Чехов, Лесков или Алексей Толстой, и черпать оттуда россыпи языка целыми пригоршнями.

Но для примера надо остановиться на ком-нибудь одном, хотя бы на Лермонтове.

У Лермонтова необыкновенная торжественность языка («Бывало, мерный звук твоих могучих слов воспламенял бойца для битвы...») сменяется изумительным легким его переливом, похожим на ночное журчанье родника («Как ночи Украины в мерцании звезд незакатных, исполнены тайны слова ее уст ароматных»). И рядом с этим почти сказочным по звучанию переливом возникает простая разговорная речь:

«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командирь
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»
На небольшом пространстве этой статьи я не могу сказать о русском языке все, что о нем следовало бы сказать.

О русском языке можно писать тома исследований, похожих на поэмы, и поэмы, похожие на исследования. Недаром чтение словарей Даля и Ушакова так увлекательно.

Во всяком случае, я уверен, что можно написать интереснейшую книгу не только о всем русском языке, но даже об одном каком-нибудь слове, особенно если это слово овеяно народной поэзией, сказанием, сказкой или определяет черты народного уклада.

Вы, ребята, снова пришли в школу. Русский язык вы изучаете с первого класса и будете заниматься им и в этом году. Это основной предмет в нашей школе.

Но иногда, нечего греха таить, занятия грамматикой и синтаксисом кажутся вам скучными и неинтересными. Некоторые ребята часто ворчат: зачем мне заниматься грамматикой, если я с детства разговариваю по-русски.

К сожалению, есть еще у нас люди, которые в силу своего невежества засоряют и калечат русский язык и превращают его в какой-то отталкивающий и мертвый жargon.

И школьники часто не следят за своей речью и употребляют канцелярские выражения вроде «имеется», «имеем на сегодняшний день», «в общем и целом», заменяют одни понятия другими. Возьмем первый попавшийся пример, который мы часто встречаем в обычной разговорной речи, хотя бы слово «зачитать». Невежды ввели его в обиход вместо хорошего и простого русского слова «прочесть». Можно зачитать до дыр книгу, но нельзя зачитать протокол. Его можно только прочесть.

Часто ребята стараются говорить на каком-то грубом жаргоне. Они употребляют беспомощные, корявые и обывательские словечки, которые выглядят безобразно и жалко, не вяжутся с самим духом и звучанием русского языка и торчат в нем занозами.

Нельзя коверкать великолепный и богатый язык, на котором говорили и писали Ленин и Пушкин, Лев Толстой и Лермонтов, Чернышевский

и Чехов, Тимирязев и Лесков, Горький и Алексей Толстой!

Ленин призывал бороться за чистоту и ясность русского языка.

Любите, ребята, русский язык. Изучайте его. Храните его, как народное богатство. Обогащайте его словами, рожденными нашей эпохой, но словами, достойными этого великого языка, теми словами, которые, как стихи Маяковского, преодолеваются века:

Мой стих
трудом
громаду лет прорвет
И явится
весомо,
грубо,
зримо,
Как в наши дни
вошел водопровод,
Сработанный
еще рабами Рима.

Кожухова О.К. – Текст про РОДИНУ

С детства не слышала отлетающих журавлей.

Сейчас предо мной оголенные, в побуревшем от непогоды живые равнины, так похожие на родные. Я сижу у самой воды, у холодного, в мелкой волне, заросшего деревьями озера. Плакучие ивы еще ярко-зеленые, а ракиты седые, как будто в дыму, словно тронуты инеем. И в листве лип и кленов и белых, серебристых тополей уже кое-где да мелькнет желтизна ранней осени.

Тишина, солнцепек, растворение в этом пахнущем вялой травой, рыбьей слизью и пальми листьями удивительном воздухе, в затишке, где безветрие возвращает тебя снова в жаркое лето. И вдруг что-то тревожное, непонятное, трубным голосом с неба, чей-то зов, чуть скрипучий, картавый, тосклиwyй.

— Журавли! Смотри скорей, журавли!

Они вышли, как самолеты, из-за купы деревьев классическим треугольником, держа курс строго на юг, и скрылись за дамбой,

обросшей ракитником

Но мне кажется, это все те же, уже пролетавшие раз над нами. Просто птицы прощаются с озером, с рощами, с заросшими пыреем и полынью долинками и оврагами, с полями в обломках стеблей кукурузы, с бездомно покинутыми на пашнях стогами соломы. Видно, взрослые журавли учат младших, подлетков, находить, возвращаясь весной, это озеро, островки на нем в соснах и елях, этот дом на холме, эти купы деревьев и все видимые с высоты, с любого захода приметные ориентиры — грустный птичий урок навигации.

Может быть, при этом старшие им говорят:

— Запомните, это ваша родина! Обязательно возвращайтесь в родные края, даже если не будет нас, взрослых! Пожалуйста, не забудьте дорогу сюда. Здесь мы любим друг друга, здесь рождаются наши дети, здесь мы умираем. Жаркий юг — это только лишь отдых, а жизнь наша здесь...

Я завидую им, улетающим, потому что весной они обязательно снова вернутся сюда. А я?.. Сумею ли я опять побывать здесь, на темной, зеленой реке, на этих прудах и озерах, взглянуть на березовые аллеи, уходящие в степь, на свекольные и ржаные поля? Я летаю теперь выше птиц, а оттуда, с немыслимой для журавля высоты, разве можно заметить мелькнувшую где-то внизу голубую подкову заливчика, где мы ловим плотвичек и раков, эти серые, словно седые, ракиты, эти рыжие, опаленные солнцем дубы?!

Я люблю бывать каждый раз в каком-нибудь новом kraю, в незнакомом мне месте, видеть горы, моря, и красивые города, и красивых людей, люблю слушать красивые, полные скрытого смысла, лукавые речи... А здесь что услышишь? Лишь «цоб» да «цобе»? Что увидишь? Вот этих летящих с севера на юг, а затем еще раз, как бы ровным крестом, поперек, с востока на запад, расстающихся со мной, улетающих журавлей?

Так мало, так мало!

Так мало, что хочется непременно вернуться — и постигнуть: а чего же здесь много? Отчего вот за эту неяркую, небогатую землю бились люди — до крови, до смерти — и с половцами, и с татарами, и с поляками, и со шведами, и с немецкими фашистами? Значит, что-то их привлекало на этой земле, моих предков, поселившихся издревле здесь, возле серой реки?

Научите меня, журавли, обязательно возвращаться! Может быть, я пойму непонятное, как и вы, угадаю.

Белов В.И. – Текст про ТАЛАНТ

(1)Не бывает абсолютно одинаковых и совсем бездарных людей!

(2)Каждый рождается с печатью какого-либо таланта.

(3)Потребность творчества так же естественна, как потребность пить или есть; она теплится в каждом из нас даже в самых невероятно тяжких условиях. (4)Каждая личность по-своему талантлива, своеобразна. (5)Людей, абсолютно плохих внутренне и внешне, к счастью, не существует.

(6)То, что потребность творчества свойственна каждому, видно хотя бы из того, что в детстве, даже в младенчестве, у ребёнка есть потребность в игре. (7)Каждый ребенок хочет играть, то есть жить творчески. (8)Почему же с годами творчество понемногу исчезает из нашей жизни, почему творческое начало сохраняется и развивается не в каждом из нас? (9)Грубо говоря, потому, что мы либо занялись не своим делом (не нашли себя, своего лица, своего таланта), либо не научились жить и трудиться (не развили таланта). (10)Второе нередко зависит от первого, но и первое от второго не всегда бывает свободно. (11)Если не научишься трудиться, так и не узнаешь, чем наградила тебя природа.

(12)Если же духовный потенциал слаб, то личность стирается, нивелируется, быстро теряет индивидуальные, присущие ей одной черты. (13)Стройному восхождению, творческому раскрепощению личности может помешать любой душевный, семейный, общественный или мировой разлад, любая неурядица, которые, кстати сказать, бывают разные. (14)Например, одно дело, когда нет обуви для того, чтобы ходить в школу (а то и самой школы), и совсем другое, когда тебя силой заставляют постигать музыкальную грамоту. (15)Конечно, второй случай предпочтительнее, но разлад есть разлад. (16)Поэтому мы видим, что общественная ориентация отнюдь не всегда безошибочна и что мода вообще вредна в таком деле, как дело нахождения себя.

(17) Почему, собственно, считается творческой только жизнь артиста или художника? (18) Ведь артистом и художником можно быть в любом деле. (19) Это должно быть нормой. (20) Ореол исключительности той или иной профессии, деление труда по таким принципам, как «почётно–непочётно», «интересно–неинтересно», как раз и поощряет мысль о недоступности творчества для всех и для каждого. (21) Но это вполне устраивает сторонников нивелирования личности, которые выделяют безликую толпу бездарных людей и противопоставляют ей людей талантливых. (22) Но это не справедливо!

(По В. Белову*)

Арсеньев В. – Текст про ТАЙГУ

Путешествие по тайге всегда довольно однообразно. Сегодня — лес, завтра — лес, послезавтра — опять лес. Ручьи, которые приходится переходить вброд, заросшие кустами, заваленные камнями, с чистой прозрачной водой, сухостой, валежник, покрытый мхом, папоротники удивительно похожи друг на друга. Вследствие того что деревья постоянно приходится видеть близко перед собой, глаз утомляется и ищет простора. Чувствуется какая–то неловкость в зрении, является непреодолимое желание смотреть вдаль.

Иногда среди тёмного леса вдруг появляется просвет. Неопытный путник стремится туда и попадает в бурелом. Просвет в лесу в большинстве случаев означает болото или место пожарища, ветролома. Не всегда бурелом можно обойти стороной.

Если поваленные деревья невелики, их перерубают топорами, если же дорогу преграждает большое дерево, его стёсывают с боков и сверху, чтобы дать возможность перешагнуть лошадям. Всё это задерживает выюки, и потому движение с конями по тайге всегда очень медленно.

Если идти по лесу без работы, то путешествие скоро надоедает. Странствовать по тайге можно только при условии, если целый день занят работой. Тогда не замечаешь, как летит время, забываешь невзгоды и миришься с лишениями.

Путевые записки необходимо делать безотлагательно на месте наблюдения. Если этого не сделать, то новые картины, новые

впечатления заслоняют старые образы, и виденное забывается. Эти путевые заметки можно делать на краях планшета или в особой записной книжке, которая всегда должна быть под рукой. Вечером сокращённые записки подробно заносятся в дневники. Этого тоже никогда не следует откладывать на завтра. Завтра будет своя работа.

Паустовский К.Г. – Текст про ВОСПОМИНАНИЯ

(1) В июле 1941 года я ехал на военной грузовой машине. (2) Солнце дымилось в обесцвеченнем небе. (3) Иногда налетали черные немецкие мессеры, били из пулеметов, потом исчезали, и оставался только жар во всем теле от раскаленной земли.

– (4)Когда я лежу под пулями, я вспоминаю леса наши костромские, неожиданно заговорил водитель. (5) – А вы вспоминаете?

– (6) Я тоже, – сказал я. (7) – Вспоминаю свои леса.

(8)Пожалуй, никогда я не вспоминал родные места с такой остротой, как на войне. (9) Я ловил себя на мысли, что жду момента, когда можно вернуться мыслью к этим местам и пройти по ним медленно и спокойно, вдыхая сосновый воздух. (10) С замиранием сердца я предчувствовал эти воображаемые походы.

(11)В этих мечтах я выходил из деревенского дома и шел по улице мимо старых изб.

(12) За деревней – сосняк. (13) Под первой же раскидистой сосновой хорошо прилечь и отдохнуть от духоты. (14) Лечь на спину, почувствовать сквозь рубашку прохладную землю и смотреть на небо. (15)За лесом есть одно место, о котором нельзя вспоминать без того, чтобы не сжалось сердце. (16) Какое же это место? (18)Самое незаметное и простое. (19) Березовый перелесок, за ним сосны, песчаный обрыв... (20)Я сажусь на горячую хвою. (21) Все, к чему ни прикоснешься, сухое и теплое: старые и давно уже пустые сосновые шишки, прозрачные и трескучие, как пергамент, пленки молодой сосновой коры, пни, прогретые до сердцевины. (22) Даже листочки земляники – и те теплые.

(23)Зной, тишина. (24) Безмятежный день созревшего до соломенной

спелости лета.

(25) Так я бродил в воспоминаниях. (26) Я думал о родных местах с такой саднящей болью, как будто я потерял их навсегда, как будто никогда в жизни их не увижу. (27) И, очевидно, от этого чувства они приобретали в моем сознании необыкновенную прелесть.

(28) Почему я не замечал этого раньше? (29) Конечно, я все это видел и чувствовал, но только в разлуке все эти черты родного пейзажа возникли перед внутренним взором во всей своей захватывающей сердце красоте.

(30) Природа будет действовать на нас со всей силой тогда, когда мы внесем в ощущение ее человеческое начало, когда наше душевное состояние, наша любовь, радость или печаль придут в полное соответствие с ней и нельзя уже будет отделить свежесть утра от света любимых глаз.

(31) В природу нужно погрузиться, как если бы вы погрузили лицо в груду мокрых от дождя листьев и почувствовали их роскошную прохладу, их запах, их дыхание.

(32) Проще говоря, природу надо любить, и эта любовь найдет верные пути, чтобы выразить себя с наибольшей силой. (По К. Паустовскому)

Солоухин В. – Текст про ПАМЯТНИКИ

Памятников архитектуры в Москве уничтожено более четырехсот, так что я слишком утомил бы вас, если бы взялся за полное доскональное перечисление. Жалко и Сухареву башню, построенную в XVII веке. Проблему объезда ее автомобилями можно было решить по-другому, пожертвовав хотя бы угловыми домами на Колхозной площади (универмаг, хозяйственный магазин, книжный магазин). Жалко и Красные и Триумфальные ворота. А, знаете ли, что площадь Пушкина украшал древний Страстной монастырь? Сломали. Открылся черно-серый унылый фасад. Этим ли фасадом должны мы гордиться как достопримечательностью Москвы? Никого не удивишь и сквером и кинотеатром «Россия» на месте Страстного монастыря.

Сорок лет строилось на народные деньги (сбор пожертвований) грандиозное архитектурное сооружение – храм Христа Спасителя. Он строился как памятник знаменитому московскому пожару, как памятник непокоренности московской перед сильным врагом, как памятник победы над Наполеоном. Великий русский художник Василий Суриков расписывал его стены и своды. Это было самое высокое и самое величественное здание в Москве. Его было видно с любого конца города. Здание не древнее, но оно организовывало наряду с ансамблем Кремля архитектурный центр нашей столицы. Сломали... Построили плавательный бассейн.

Кроме того, разрушая старину, всегда обрываем корни. У дерева каждый корешок, каждый корневой волосок на учете, а уж тем более те корневища, что уходят в глубочайшие водоносные пласти. Как знать, может быть, в момент какой-нибудь великой засухи именно те, казалось бы уже отжившие, корневища подадут наверх, где листья, живую спасительную влагу. Ужасная судьба постигла великолепное Садовое кольцо. Представьте себе на месте сегодняшних московских бульваров голый и унылый асфальт во всю их огромную ширину. А теперь представьте себе на месте голого широкого асфальта на Большом Садовом кольце такую же зелень, как на уцелевших бульварах.

Казалось бы, в огромном продымленном городе каждое дерево должно содержаться на учете, каждая веточка дорога. И действительно, сажаем сейчас на тротуарах липки, тратим на это много денег, усилий и времени. Но росли ведь готовые вековые деревья. Огромное зеленое кольцо (Садовое кольцо!) облагораживало Москву. Правда, что при деревьях проезды и справа и слева были бы поуже, как, допустим, на Тверском бульваре либо на Ленинградском проспекте. Но ведь ездят же там автомобили. Кроме того, можно было устроить объездные пути параллельно Садовому кольцу, тогда сохранилось бы самое ценное, что может быть в большом городе – живая зелень.

Если говорить строже и точнее – на месте уникального, пусть немного архаичного, пусть глубоко русского, но тем-то и

уникального города Москвы, построен город среднеевропейского типа, не выделяющийся ничем особым. Город как город. Даже хороший город. Но не больше того.

В самом деле, давайте проведем нового человека, ну хоть парижанина или будапештца, по улице Горького, по главной улице Москвы. Чем поразим его воображение, какой такой жемчужиной зодчества? Каким таким свидетелем старины? Вот телеграф. Вот гостиница «Минск». Вот дом на углу Тверского бульвара, где кондитерский магазин... Видели парижанин и будапештец подобные дома. Еще и получше. Ничего не говорю. Хорошие, добротные дома, но все же интересны не они, а именно памятники: Кремль, Коломенское, Андронников монастырь...

Екимов Б. – Текст "Невеликая, в три этажа, больница"

Невеликая, в три этажа, больница, построенная во времена прошлые для областного начальства, уютная эта больничка размещалась в парке, среди старых лип, тополей да вязов, и от мира внешнего, городского укрывалась, словно стеной крепостной, высоким глухим забором, сложенным из камня песчаника.

Неделя пролетела быстро. На раннюю утреннюю прогулку, видимо последнюю в житии больничном, отправился Илья не один, а с человеком знакомым – по дому сосед: седовласый, роста немалого, тучноватый, всегда приветливый.
Здесь, возле книжного шкафа, а потом прогуливаясь в просторном, светлом, зеленью украшенном холле, и случился разговор, а точнее, рассказ занятный.

Илья копался в книгах. Сосед спросил:

- Пушкина здесь нет? Илья ответил с улыбкой:
- Вряд ли. Детективы в основном и любовь.
- Надо бы Пушкина... Да, да... Именно Пушкина. – Он даже пальцем погрозил: – Великий поэт. А мы его не читаем. Всякие там трень-брень. Пушкина надо читать и понимать его! – возвысил он голос. – Я и сам, признаюсь, дурак. В школе когда-то учили. "Буря мглою небо кроет..." А потом... – махнул он рукой. – Все забыл. Но случай помог.

Вот послушай...

Он взял Илью под локоть, и они пошли потихоньку.

– Младшая внучка у меня – школьница. Она больше у нас живет. Родителям некогда, вот бабка с ней и кохается: уроки и прочее. И вот как-то раз, осенью дело было... Помню, ненастный день, темный какой-то. И по работе был тяжелый, сплошная ругня. Я домой приехал, жене говорю: чу ток отдохну, что-то устал. Ушел в свою комнату, лег и лежу в темноте, ни свет, ни телевизор не включаю. А они в другой комнате, жена и внучка. Слышу, что внучка учит какой-то стишок.

Голосок у нее милый, детский, что-то повторяет и повторяет снова и снова. Я прислушался, слова стал различать. А эти слова: "Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит..." Господи, да конечно же просит, еще как просит. Именно покоя. "Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия..." – как-то вроде жалоб но внучка говорит.

Меня даже обожгло: как все точно, правдиво. Я встал и потихоньку дверь приоткрыл, стою слушаю. А внучка повторяет снова и снова:

"Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит..." Голосок у нее нежный. Словно она именно мне говорит, своему деду, старому дураку, внуши ет: "...предполагаем жить, и глядь – как раз умрем". Это ведь правда голи- мая: все "предполагаем" да "располагаем", а потом хлоп

– и нету.

Как я в те минуты ясно все понимал, отчетливо: какой я дурак! Вот сегодня – суббота, а я на работе весь день проторчал, ругался, скандалил. Целый день. "Каждый час уносит частичку бытия..." Ведь я мог с дорогими людьми этот день провести: с внучкой, с женой.

Поехали бы за город, в лес, побродили. Внучка так любит лес, осень, листья красивые. А я на нее люблю глядеть, слушать ее. Или можно поехать к маме. Мама, слава богу, живая. Старенькая... Тоже – дитё малое в девяносто лет. Скоро уйдет. Буду плакать, жалеть. А ведь мог день возле нее провести. Но вместо этого на работе собачился. И до того дособачился, что даже на своих родненьких глядеть не хочу.

Забился в свою конуру. Будто они в чем-то виноваты. А ведь они у меня – главная радость в жизни, именно они: жена, сын, дочь, внуки, мама. А вот выходит, что прячусь от них. Слава богу, дожился. И уже мне стало казаться, что это они специально устроили, внучка с женой, внушают мне: "На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно, усталый раб, замыслил я побег..."

Жена-то ведь знает, как мне непросто работается. Она сто раз говорила: "Бросай все, проживем!" Думаю, неужели она специально для меня весь этот спектакль разыграла?

Вышел я к ним. Они говорят: "Разбудили?.." – "Разбудили, – отвечаю. – Спасибо", – и прочитал наизусть все стихотворение. Читаю, а сам чуть не плачу. Внучка в ладоши хлопает: "Дед! Какой ты молодец!" А жена глядит и лишь головой качает.

Я потом проверил, в дневник заглянул: все верно, задавали учить наизусть этот стих.

Такой вот случай. И я с той поры Пушкина так полюбил... У нас его десять томов, красные такие, подписька, собрание сочинений. И я их читаю, перечитываю. И тебе советую, дружок.

Лиханов А.А. – Текст "Мы часто говорим"

(1)Мы часто говорим о том, в чём мы нуждаемся, но редко упоминаем то, чего нам не хватает в самом деле.

(2)Не хватает нам любви к детям. (3)Не хватает самоотверженности – родительской, педагогической. (4)Не хватает сыновней, дочерней любви.

(5)Есть простая пословица: «Как аукнется, так и откликнется». (6)Тот же смысл выражает пословица «Сколько положишь, столько и получишь». (7)Верные вроде бы формулы. (8)Только если следовать лишь им, добьёшься одного воспроизведения. (9)Для сеятеля это просто беда, когда зерна он снимет ровно столько же, сколько

посеял. (10)Пахарь должен получить прибавок, ведь только тогда он выживет, прокормит свою семью.

(11)Так же точно и общество должно бы существовать. (12)Прогресс состоит из прибавок, которые дают поколения, «посеянные» их родителями и наставниками. (13)Конечно, прибавок этот есть, но в каких пространствах? (14)В пространстве человеческих знаний, конечно. (15)В области технологий. (16)А как с духовностью? (17)Увы, в этой тонкой сфере воспроизведения мы радуемся даже простому отклику на ауканье.

(18)И слишком часто замечаем простые потери: не больше, нет, а меньше становится доброты, милосердия. (19)Грубее и жёстче отношения между самыми добрыми вроде бы людьми.

(20)Исполнение долга в межчеловеческих отношениях уступает служебным обязанностям — там человек и обязательнее, и профессиональнее. (21)А любовь к детям стала напоминать любовь к собственному имуществу. (22)Впрочем, имущество порой дороже людей... (23)Что может быть печальней и горше?

(24)Давно замечено: и лучшие, и худшие стороны человека выявляет беда. (25)Януш Корчак не только последние часы и минуты своего бытия, когда вместе с детьми принял мученическую смерть в фашистской газовой камере, но и всю предыдущую жизнь стоял рядом с бедой, точнее, жил в её гуще, работая с детьми-сиротами.

(26)Сиротство, эта библейская древняя форма человеческого одиночества, требует сострадания и соучастия, самоотверженной и терпеливой любви настоящих гуманистов. (27)Януш Корчак первый из них, и первенство это измерено мерой его выбора, мерой честности. (28)Мера эта — смерть.

(29)Не только поляки чтут выбор своего бессмертного учителя.

(30)Его имя внесено в святцы и мировой педагогики, и элементарной человеческой порядочности. (31)И именно в его устах, под его пером в высшей степени правомерно звучит дидактическое, даже назидательное наставление: как любить детей. (32)Книга «Как любить ребёнка» Януша Корчака — своеобразный манифест гуманизма. (33)Нестареющий завет, переданный в наши и грядущие времена из времен как будто от нас удалённых и в то же время совершенно похожих, потому что речь идёт о любви к детям, а это ценность постоянная.

(34)Духовная комфортность делает человека толстокожим,

совершает в его сознании странные подвижки, когда ценности мнимые застят свет, а ценности подлинные уходят на второй план. (35) Каждому рано или поздно воздаётся по заслугам, но часто — слишком поздно, когда ничего не исправишь, и в этом истоки многих человеческих драм. (36) Те, кто воображает, будто доброта и любовь — малозначимые, второстепенные качества, которые не помогают, а напротив, даже вредят, допустим, при достижении карьеры, бывают наказаны на краю этой карьеры, а ещё чаще — на краю собственной жизни — нелюбовью и недобротой своих же близких, и в первую очередь детей. (37) И пусть же всякий, кто спохватится и заторопится вперёд — от нелюбви к любви, от недоброты к доброте, — припадёт, как к чистому итогу, к этой последней заповеди Януша Корчака.

(По А. Лиханову*)

Сагалович Ю.Л. – Текст про БЛАГОДАРНОСТЬ

В последние годы можно слышать исподволь повторяющуюся фразу: «Поколение фронтовиков уходит, их становится все меньше». Чаще всего эти слова произносят с искренним сожалением, отдавая должное отцам, дедам и прадедам. И тем, кто погиб на войне, и тем, кто умер уже после войны от ран или от старости, и тем, кто еще жив.

Бывает, что слова об уходе старых фронтовиков произносят бездумно и бесстрастно, повторяя их за другими. Бывает — по обязанности.

Встречалось, молодые люди с издевкой относились к боевым орденам, которые фронтовики надевают единожды в году на день Победы.

Я знаю людей, которые, как только заходит речь о войне, переводят беседу на свои туристские походы в надежде сравнить их с боями. Младшие поколения стремятся принизить нравственный подвиг старших во время войны только потому, что подсознательно не могут не преклоняться перед его величием.

Спасибо и за это подсознательное...

Один из читателей упрекнул меня в том, что я будто бы требую от нынешней молодежи помнить о Великой отечественной войне, почитать ее и ее героев, в то время как она так же далека от молодых

людей, как Куликовская битва. Заметим, что для сравнения выбрано максимально отдаленное событие. Самую близкую и массовую героику с издевкой задвинули к истокам истории, лишь бы понадежнее избавиться от нее. Хотя можно было бы отправиться поближе, например, к 1612-му году, или к 1812 году. Ведь о Бородинском сражении та же молодежь вспоминает вполне благосклонно. Так в чем же дело? Память о действительно отдаленных событиях ни к чему не обязывает. Можно даже продекламировать несколько строчек из «Бородино» Лермонтова, или вспомнить замечательное стихотворение М. Цветаевой «Генералам двенадцатого года», не заботясь о том, чтобы подкрепить благодарную память действенной, реальной благодарностью к участнику событий, еще живому человеку, которого можно встретить на улице или в лифте.

А благодарность — удел великих душ.

К счастью отнюдь не для всей молодежи наша невиданная ранее война так же далека, как Куликовская битва. Повторюсь, самое главное состоит в том, что сравнение с Куликовской битвой — лукавство. Память о подвиге, о благородстве, о боли и страданиях — обязывает и подражать и сострадать, а потому быть обязанным отнюдь не всем нравится. Лучше не помнить и не знать — так проще жить... Потому-то и сравнивают с Куликовской битвой, что хотят задвинуть память о трагедии новейшей истории подальше от своей совести.

Каким я помню и вижу собирательный облик дорогое мне однополчанина? Бравый подтянутый офицер с гладко выбритым лицом, спрыснутым шипром, в предвкушении принятия награды, сопровождаемой рюмкой — эти внешние симпатичные признаки далеко не исчерпывают офицерской сути. Пехотный офицер — заботливый трудяга, отвечающий за все, все понимающий, смельчак, личный пример которого — непререкаем. Это и пахнущие потом портянки на сбитых сильных мужских ступнях. Это и нажитая боевым опытом мудрость, которая во сто крат шире боевого устава пехоты.

С другой стороны, портрет воина-фронтовика не исчерпывается простуженным голосом, небритым лицом, красными от недосыпания слезящимися глазами и чернотой под ногтями на руках, сжимающих саперную лопату. И, разумеется, жизнь фронтовика — это отнюдь не

только невыразимые внутренние страдания. Но часто она выражается и внутренним удовлетворением, и гордостью, и успокоением после удачного боя, когда, ощущив себя живым, можно расслабиться, передохнуть и поесть, да и пропустить несколько живительных глотков.

Гранин Д.А. – Текст про ПАРИЖ

Паустовский описал первое это свидание с Парижем в своем очерке «Мимолетный Париж».

Про Лувр в этом очерке почти ничего нет. И в «Европейском дневнике» две короткие строчки. О самом сокровенном, личном он избегал писать. Оставлял для себя. Нельзя все для печати. Перед поездкой в Лувр Паустовский предложил нам троим — Рахманову, Орлову и мне — ограничиться минимумом. Не бегать с толпой экскурсантов из зала в зал, не пытаться осмотреть даже лучшее. Константин Георгиевич живо представил нам в подробностях: тысячи картин, и все знаменитые — Рембрандта и Веласкеса, школы всех веков, анфилады, переходы, этажи, разноязычные голоса гидов... — А мы посмотрим только Нику Самофракийскую, Венеру Милосскую и Джоконду. Проведем у каждой полчаса и уйдем.

К тому времени нас уже слегка подташнивало от музеев Греции, Италии, от мраморных скульптур, памятников, фресок, картин, гравюр, росписей. Все слилось в сырой ком. План Паустовского понравился своей решительностью и простотой.

Ника, безголовая, безрукая, была непонятна. Фантазии моей не хватало представить ее в целости. Красота ее тела, что светилось сквозь каменные складки прозрачной туники, не действовала на меня без головы, без лица. Красоты одного тела оказалось мало. Скульптура передавала подвижность тела, воздушность ткани так искусно, как ныне не могут. Если древние умели такое, можно ли говорить о прогрессе в искусстве? Движется ли искусство куда-нибудь? На галерный корабль такую фигуру ставили, на парусник — понятно, а на межпланетный она не пойдет, другую надо придумывать. Вот примерно куда меня завело, когда я разглядывал Нику. Чувств удивления и интереса надолго не хватило, зароились разные мысли. Мы продолжали стоять перед нею. Я украдкой взглянул на часы. Прошло пятнадцать минут. Не так-то просто истратить полчаса на одну вещь. Никогда я такого не делал. Смотреть, а чего в ней еще смотреть, все уже ясно. Изучать? Опять же — чего? Если бы я был искусствоведом... А уж переживать — тем

более невозможна так долго. Непростое это оказалось дело. Куда легче двигаться, идти мимо разных полотен, гулять по музею, остановиться у какой-нибудь исторической сцены, полюбоваться красоткой, можно пейзажем. Прочиташь подпись «Тициан» — ага, значит, надо еще раз взглянуть, присмотреться, вроде и в самом деле гениально.

Постояв еще немного, мы двинулись к Венере.

Как всякий, я навидался ее изображений. Теперь я стоял перед подлинником. Я знал, что должен волноваться. Кто только не стоял на этом месте, перед этим совершенным мрамором! Великие, известные, в сущности все просвещенные люди, что жили в Париже, и те, кто приезжал в Париж, все русские интеллигенты, все художники Европы, ее поэты, ученые, ее правители, — все считали необходимым являться сюда, к этой женщине. И вот теперь и я сподобился. И я смогу сказать, что видел Венеру Милосскую. Это было как вершина для альпиниста, отметка для получения разряда. Перед мною было воплощение женственности, общепризнанная мера красоты, гармонии, проверенная столетиями. Вспомнил очерк Глеба Успенского «Выпрямила». В самом деле, если бы можно было сосчитать, скольким людям помогла эта красота устоять, скольким вернула покой, силу, чувство любви к жизни, восхищения человеком?.. С Венерой, следовательно, разбрался, вникнул. А вот Джоконда...

Не хочу рассказывать о первом чувстве разочарования перед Джокондой, не это важно. О картине я писать не собираюсь, и о своих мыслях тоже. Что-то было вначале, а потом пропало. Никаких мыслей не стало, а был уход, я не заметил, как стал уходить в картину, погружаться в нее. И она уходила в меня. Так бывает, когда долго стоишь перед морем. Или лежишь, глядя в небо. За четверть века то чувство давно стерлось, осталось от него воспоминание того, как стоял я без мыслей, забыв о времени. Через несколько лет, снова будучи в Лувре, я к Джоконде не подошел и больше не подойду. Очнулся я, увидев, что Паустовский плачет, и показалось это естественным. Мы вышли из Лувра, ни на что более не взглянув. Устали. Сели на скамейку и долго сидели молча.

Выходило, что одна картина может дать больше, чем целая.

Философов Д.В. – Текст про Чехова

Липовый чай

(К пятилетней годовщине со дня смерти А. П. Чехова)

Русские писатели почти никогда не ограничивались "чистым искусством". Все они философствовали, занимались политикой, — словом, были "учителями жизни".

Чехов до самой смерти остался только художником. Он избегал высказываться по каким бы то ни было вопросам, занимавшим русское общество.

Конечно, ему приходилось сталкиваться с людьми самыми разнообразными, высказывать свои мнения. Но это были мнения собеседника, а не учителя. Появившиеся в печати письма его напоминают письма Тургенева. Непринужденная беседа, меткие характеристики, крайне переменчивое настроение. Тонкая, впечатлительная душа, разрешающая свою трагедию в юморе. До чего эти письма не похожи на письма Льва Толстого! Толстой всегда учит, всегда требует, дает совет, как жить и что делать. К Толстому все обращаются как к учителю. У Чехова же вряд ли кто искал жизненного руководства. Более того. Сколько раз мы читали в газетах, что Максим Горький по данному вопросу, хотя бы пустячному, высказался так-то, а вот Леонид Андреев — иначе. Но "интервью" с Чеховым мы просто даже представить себе не можем. Не такой он был человек, чтобы определенно и резко высказываться, чтобы отстаивать какую-нибудь теорию, или программу.

У него была своя логика — художественное творчество.

И понятно, что никто не смотрит на Чехова как на учителя.

Он — не учитель, а, скорей, любимый друг и брат. Врач, который помогает не столько своими знаниями, правильной постановкой диагноза, сколько совсем особенным, душевным отношением к пациенту. Ведь от врача далеко не всегда требуют излечения. В нем ценят внимание. Тысячи больных в больнице. Не отличишь одного от другого. И все притом страдают одной болезнью, ну, тифом, что ли. Врач только тогда сделается любимым, если он заметит каждого из этих незаметных людей, поймет, что для холостого Ивана тиф совсем не то, что для обремененного семьей Петра.

Чехов замечал незаметных людей. Более того, он нежно любил их, как-то изнутри понимал их несложные, но сколь для них важные переживания, а главное — ничего от них не требовал.

В сущности, и дядя Ваня, и Николай Алексеевич Иванов, и Треплев, и

Астров, не говоря уже о сестрах Прозоровых, подполковнике Вершинине и т.д., — самые серые, незаметные люди.

До Чехова их как бы не существовало. Их никто не замечал. Они скорбели, страдали, радовались, влюблялись в каком-то коллективном одиночестве, были тварью, совокупно стенающею. Пришел Чехов, заметил их и как-то утвердил.

Ни в чем реальном он этим маленьким людям не помог. Не указал им выхода, не разрешил ни одного мучившего их вопроса.

Но ведь и старая нянька Марина не вылечила капризничающего профессора, не создала ему успеха, не вернула его на кафедру. Однако она, несомненно, ему помогла. В атмосфере общего недомогания и раздражения она внесла нежную, человеческую ласку. Признала за профессором право быть таким, какой он есть, признала законность его капризов.

— Пойдем, светик... Я тебя липовым чаем напою, ножки твои согрею, Богу за тебя помолюсь. У самой-то у меня ноги так и гудут, так и гудут!

Здесь как бы весь Чехов.

Он с особым искусством умел поить нас липовым чаем, а главное — за всеми его словами чувствовалось, что ножки у него так и гудут, так и гудут!

Он никому не обещал спасения, не говорил, что у него есть "секрет". Но все твердо знали, что он преисполнен жалости и сострадания. И не три, а триста тысяч "сестер" почувствовали сразу облегчение. Конечно, временное, потому что Чехов лечил не болезнь, а симптомы ее, но все-таки облегчение.

Остапа Тарас Бульба не спас от смерти, но все-таки Остапу было легче от сознания, что батька его слышит.

— Слышу! — раздалось среди общей тишины...

Остап — герой. Его стоны, притом на площади, перед "миллионом народа", услышать гораздо легче, чем даже не стоны, а хрипы миллионов маленьких людей, сидящих в своих конурах. Здесь нужны какие-то микрофоны, здесь нужен слух какого-нибудь индейца из романа Фенимора Купера, слух "Следопыта".

Маленьких людей видели, конечно, и Толстой, и Достоевский. Но их маленькие люди почему-то выходили всегда великанами. Простой мужик Каракаев, под стать, по крайней, мере, Конфуцию, а гвардейский офицер князь Болконский — сродни Шопенгауэру.

Мармеладов, или капитан "Мочалка", в пьяном виде задевали непременно кучу "проклятых" вопросов. И Толстой, и Достоевский —

писатели космические. Они воздвигали Пелион на Оссы.
У Чехова маленькие люди остаются тем, что они есть. Они не растут и не могут расти. Они никогда не ведут "умных" разговоров.
Умные разговоры встречаются в наиболее слабых вещах Чехова, написанных под влиянием Толстого.
У Достоевского и Толстого всегда:

Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота океан-море.

У Чехова никаких глубин и высот, Пелионов и Осс.
Серенький русский пейзаж, с елочками и березками, бесконечная степь, где как бы слышится плач "зегзицы" Ярославны: "О, ветре, ветрило, чему, господине, насилино вееш?"
Нежная, проникновенная любовь к данному и смутная, едва уловимая надежда на то, что "все образуется".
А пока... "липовый чай". "Мне он помог, и вам поможет. А что — ножки гудут, так и у меня они гудут!"
Большой художник был Чехов. Добрый, хороший человек был Антон Павлович. Одно как-то дополняло другое.

Достоевский лелеял русских мальчиков, которые по трактирам "о Боге спорят". Толстой учит, как перехитрить зло, борясь с ним непротивлением.

"Мальчики" Чехова никогда не говорят о Боге и вообще мало говорят. Им все как-то некогда, жизнь заела. То почту возить надо, то в "Славянском Базаре" котлеты подавать, то детей кормить. Бороться со злом, даже по новому, усовершенствованному, толстовскому способу, они и не думают. "Не до жиру, быть бы живу". Ведь самый факт жизни для них уже геройство. Они все какие-то подкошенные, с червоточиной. И когда кто-нибудь чего-нибудь от них требует, они смотрят удивленными, добрыми глазами затравленной лани.

С них нельзя требовать, да и они не требовательны. Иван Карамазов не знал, — возвращать ли ему билет на вход в рай, или нет. Чеховские герои были бы довольны, если бы "Вишневого сада" не продавали, артиллерию не переводили в другой город, и профессор не так капризничал.

Всякий "тенденциозный" писатель, прежде всего, требователен.

Чехов — эстет чистейшей воды. Он оставляет все как есть и тихо жалеет людей.

Поэтому все уставшие, утомленные самым фактом жизни тянулись к нему, за "липовым чаем".

Поэтому Чехов, может быть, единственный из русских писателей, у которого — только поклонники и нет врагов. Не любят тех, кто требует, пристает, заставляет отвечать на трудные вопросы.

Требовательные люди — жестоки. У Чехова жестокости нет никакой. "Все мы беспощадны, и всего беспощаднее, когда мы правы", — сказал Герцен.

Чехов не беспощаден, потому что он никогда не считал себя правым. Жизнь он принимал так же покорно, как и смерть. Не надо забывать, что лучшие свои вещи он написал, ясно ощущая смерть, которая годами боролась с ним. Смерть как бы жила в нем. На жизнь он смотрел под знаком смерти.

Беспощадны жизнь и смерть. Люди же должны жалеть и щадить друг друга.

Сегодня, в день чеховских поминок, хочется сказать: "Любите Чехова, как он вас любил. Учитесь у него состраданию, великой жалости к людям. Цените его великий художественный дар. Но не поддавайтесь соблазну чеховщины. Липовый чай хорош для больных, для тех, у кого ножки гудут. В минуты уныния и усталости отчего ж и не попить липового чаю. Но жизненное дело творится людьми здоровыми, крепко стоящими на ногах".

Мудрый художник пожалел, пощадил нас. Помянем его за это с благодарностью. Но сами себя жалеть мы не имеем права.

О, если бы меньше себя жалели, были беспощаднее к себе и требовательнее к другим!

Конецкий – Текст про АЙСБЕРГ

Иногда бывает ощущение, что все мы на планете — гости. Как в детстве, когда привезли тебя на елку в состоятельный дом и ты чужой всем.

И такое я в очередной раз пережил, когда впервые увидел айсберг.

Уже за два дня американский ледовый патруль сообщил о появлении айсбергов у нас по курсу. И мы нанесли их координаты на карту. И я

боялся, что вдруг айсберги унесет течением.

Мы попросили механиков чаще замерять температуру воды за бортом. Никто из штурманов и капитан с айсбергами еще не встречался. Туманы там густые, часты снежные заряды. И мы не знали, как радар обнаруживает эти айсберги. И, конечно, пошли разговоры о «Титанике» и «Гансе Гедтофте».

Первый айсберг показался часа за два до заката. На экране радара он казался сперва судном. Но потом очертания отметки увеличились и размылись. Капитан подвернулся, и мы пошли на сближение, чтобы познакомиться с айсбергами.

Они плыли сюда от берегов Гренландии два года. Два года они раздавливали волны и обыкновенные льды. Они презирали ветра и подчинялись только глубинным течениям, потому что сидели в воде на триста метров.

Они плыли сюда два года, храня в себе тайны ледникового периода. В них жило эхо голосов пещерного человека. И они слышали последний, предсмертный вопль замерзающего мамонта.

И вот они приплыли сюда, чтобы встретиться со мной и потом исчезнуть без следа в волнах океана.

И я тоже шел к ним длинным и сложным путем.

Торжественная тишина стояла в рубке.

Мы вплывали в храм.

Его куполом были небеса. Айсберг был алтарем.

Мы измеряли его высоту секстаном и радаром – по вертикальному углу и дистанции. Получилось семьдесят метров.

Мы были жалкими гостями мироздания, блохами, водяными блохами.

Айсберг имел две вершины, с ущельем между ними. Заходящее солнце уперло в вершины свои лучи. Неизъяснимые краски мерцали в гранях и поверхностях льда. Глубинный шум покорно смиряющихся волн окружал айсберг. Зелено-белый кильватерный след оставался за ним.

Мы перестали замечать время. Судно лежало в дрейфе и тоже благоговейно слушало шум двигающегося сквозь храм алтаря.

Намного ниже его вершин летал альбатрос.

А позади было еще два маленьких айсберга, очевидно соединенных с ним под водой общей подошвой.

И я все думал о тщетности усилий человечества достичь величия и о том, что мы гости здесь, что планета и мироздание только терпят нас – и больше ничего...

– А что это красное? Белого медведя убили, что ли?

И мы все заметили странные кровяные подтеки на огромной высоте, у самых вершин.

– Братцы, так это же номер! – заорал кто-то. – Номер восемнадцать!

Айсберги оказались пронумерованными. Ледовый патруль метил их из ракетных пистолетов, как метят овец. На айсберге был номер, как инвентарная бирка на канцелярском столе. Чтобы не путать их друг с другом, чтобы они не разбежались, не ушли в кусты от пастуха.

Благоговейная тишина рухнула. Капитан приказал давать ход и чертыхнулся, потому что мы потеряли на знакомство с айсбергами не меньше часа. В рубке спорили о том, как называются маленькие айсберги – «айсбержата»? – от жеребят? Или еще как, по-иному? Все изощрялись в остротах и веселились. Всем как-то легко стало. Величие перестало давить души, и мы бессознательно обрадовались этому.

Так с наслаждением разрушали храмы солдаты и дикари во все века.

Гуминенко – Текст про талантливых людей

На свете очень много людей по настоящему талантливых. Каждому от рождения даются какие-то способности, которые он может употребить в будущем. Но хотя талант – это великая вещь и драгоценный дар, одного его недостаточно. Талант – это как самородный алмаз. Разумеется, никто не станет отнимать ценности у необработанного алмаза, который сам по себе стоит достаточно дорого. Но для того, чтобы алмаз стал бриллиантом – его нужно долго и тщательно гранить.

В любом роде искусства требуется длительная, кропотливая работа над тем что ты делаешь. Я лично знаю одну писательницу, которая может в начале произведения сказать про персонажа, что он смелый, что он авторитетный, что "все слушаются его негромкого голоса", а через парочку–другую абзацев заявить, что этот же персонаж всегда был и остался трус, плакса, растяпа и никто его ни во что не ставит. Когда автора спрашиваешь, перечитывала ли она свой собственный текст, она честно отвечает: "Нет". И так у неё с каждым её произведением, которое "с пылу, с жару" кидается читателям, да там и оставляется, потому что автор спешит уже схватиться за следующее.

Работа с текстом почему-то представляется большинству современных писателей чем-то ненужным. Обычно текст устраивает "как есть", а если что-то в нём непонятно – это, вроде как, личная проблема читателей. Пускай ворочают мозгами.

Для большинства современных авторов главным критерием оказывается принцип "сойдёт и так, а мне нужно срочно бежать дальше". Вот только мне хочется сказать: для автора может быть и сойдёт (он и так знает, что хочет сказать), а вот для читателей – вряд ли. Если писатель хочет, чтобы его поняли, он должен работать над каждым словом, над каждой строчкой, каждым абзацем, каждым произведением, постепенно доводя своё творение до максимально совершенного состояния.

Главный рецензент – это своя собственная совесть. У человека должны быть высокие требования к самому себе и к тому, что он делает.

Казалось бы, чего проще? Перечитывая своё собственное творение, каждый наверняка может почувствовать, что вот тут что-то не так, что-то не доработано, непонятно, недостаточно отшлифовано, а тут наоборот, очень здорово. Каждый человек сам в состоянии почувствовать, удовлетворена его совесть или нет.

Писательская деятельность – это очень сложное дело. И как любое дело, его нужно делать, а не ожидать, что оно само как-то получится, на порыве вдохновения, осенения и прочих подобных "чудесных" состояний.

Тем и прекрасно это занятие – писательская деятельность – что в нём, как ни где более, нет предела собственному совершенствованию. Жизнь огромна, многогранна и чрезвычайно интересна. В ней так много интересного, что за всю жизнь не постигнешь и тысячной доли. Нужно только двигаться вперёд и искать, чтобы, отыскав, поделиться с другими.

А уж если взялись делиться с читателями, надо употребить все усилия, чтобы максимально полно изложить свои мысли. Потому что писательская деятельность – это не только самое прекрасное, но и самое опасное занятие. Она подобна скальпелю в руках хирурга: можно с её помощью вернуть человека к жизни, а можно искалечить или убить.

Тот, кто однажды решил заняться писательской деятельностью, должен сделать очень серьёзный выбор.

Если хочется писать легко, без труда и чтобы не было опасности, что твоим произведением соблазнится много людей – лучше вообще отказаться от этого великого, прекрасного и опасного дела и посвятить свою жизнь чему-то другому. А если отказываться от писательской деятельности всё-таки не хочется – нужно научиться

воспринимать это, как любое другое дело, которое нужно делать тщательно, не забывая, что писатель в ответе за каждое написанное им слово.

Песков – Текст о природе

(1) Лишь совсем недавно человек узнал, что Земля – это шар.
(2) Думали, стоит Земля на трёх слонах, а ночью звёздный мир укрывает Землю. (3) Теперь вокруг шара человек облетает менее чем за два часа. (4) Землю можно увидеть со стороны. (5) Вот снимок, сделанный из космоса. (6) Да, Земля – это шар, на нём видны материки, моря, облака, восходы и заходы Солнца. (7) Подробности земной жизни издалека не видны, но они есть, их много...

(8) Два десятка лет назад американцы провели опрос учёных: что дали человечеству полёты в космос? (9) Ответы были интересные.
(10) Мне запомнился этот: «Во Вселенной мы одни, и не похоже, что где-нибудь нас ждут. (11) Надо беречь свой дом – родную Землю». (12) Хороший ответ.

(13) Сегодня с высоты своих знаний человек может сказать: «Замечательная нам досталась планета». (14) В самом деле, есть на планете вода, без которой жизнь была бы невозможной. (15) Близость Солнца даёт не иссякающее от времени тепло.

(15) Вращение Земли обеспечивает чередование дней и ночей на планете, смену времён года. (17) Зелёные растения наполняют атмосферу кислородом, накапливают углерод и выделяют в верхние слои атмосферы животворный кислород и озон, прикрывающий всё живое от губительных лучей Солнца.

(18) Конечно, зародившейся жизни миллионы лет приходилось приспособливаться к изначальным условиям на планете. (19) Живые организмы уступали место на Земле более совершенным. (20) От многих животных уцелели лишь кости. (21) Но некоторые дожили до наших времён. (22) Живут в океанской воде на грани истребления человеком громадные киты – самые большие существа, когда-либо жившие на Земле. (23) Самые маленькие из млекопитающих –

крохотная мышь – малютка и землеройка, весящая всего два грамма.

(24) Между китами и мышами – огромное число животных, которым Земля стала родным домом. (25) И во главе всего сущего стоит человек. (26) Он часто решает, кому жить, а кому в жизни отказано.

(27) Миллионы лет отбирала Природа животных, определяя места, где они могут жить, чем могут кормиться. (28) Человек давно изучил эти места и первым тянется к добыче, разрушает среду, где привычно и благополучно живут звери, птицы, рыбы. (29) Так разрушаются основы нашего общего Дома.

(30) Много животных исчезли или стали исключительно редкими.

(31) Уже давно мы не видим пролетающих журавлей, мало кто слышит токующих глухарей, крик перепёлок. (32) И так везде на Земле.

(33) Двести лет назад американцы варварски истребили миллионы бизонов, а в середине прошлого века химия подкосила в Америке культовую птицу – белоголового орлана. (34) В Африке на больших пространствах уничтожили тысячи носорогов – нужна была земля для посевов зерна. (35) Растут площади жарких пустынь и пустошей, истощаются плодородные земли, высыхают озёра, исчезают на равнинах малые реки.

(36) Вот что имел в виду учёный, ответивший на вопрос о космосе.

(37) Планету Землю нам надо беречь. (38) Никто не ждёт нашей высадки на другие планеты. (39) А Земля по-прежнему нас кормит, даёт нам дышать, снабжает водой, теплом и радостью жизни, идущей от наших соседей: зверей, птиц, рыб, насекомых, образующих сложный узор жизни на нашей планете.

(40) Вот как выглядит Земля, если глянуть на неё со стороны.

(41) Очертания материков. (42) Следы деятельности вулканов. (43) Огни больших городов и маленьких деревень. (44) Озёра на суше.

(45) Острова в океане. (46) Земля, изрытая шахтами и лисьими норами.

(47) Земля, покрытая следами зверей, хлебными полями и кудрями лесов... (48) Такой общий наш Дом.

Ильин – Текст о России

О России

Разве можно говорить о ней? Она — как живая тайна: ею можно жить, о ней можно вздыхать, ей можно молиться; и, не постигая ее, блести ее в себе; и благодарить Творца за это счастье; и молчать...

Но о дарах ее; о том, что она дала нам, что открыла; о том, что делает нас русскими; о том, что есть душа нашей души; о своеобразии нашего духа и опыта; о том, что смутно чуют в нас и не осмысливают другие народы... об отражении в нас нашей Родины — да будет сказано в благоговении и тишине.

* * *

Россия одарила нас бескрайними просторами, ширью уходящих равнин, вольно пронизываемых взором да ветром, зовущих в легкий, далекий путь. И просторы эти раскрыли наши души и дали им ширину, вольность и легкость, каких нет у других народов. Русскому духу присуща духовная свобода, внутренняя ширь, осязание неизведанных, небывалых возможностей. Мы родимся в этой внутренней свободе, мы дышим ею, мы от природы несем ее в себе. — и все ее дары, и все ее опасности: и дары ее — способность из глубины творить, беззаботно любить и гореть в молитве; и опасности ее — тягу к безвластью, беззаконию, произволу и замешательству... Нет духовности без свободы; — и вот, благодаря нашей свободе пути духа открыты для нас: и свои, самобытные; и чужие, проложенные другими. Но нет духовной культуры без дисциплины; — и вот, дисциплина есть наше великое задание, наше призвание и предназначение. Духовная свободность дана нам от природы; духовное оформление задано нам от Бога.

Разливается наша стихия, как весенняя полая вода, — ищет предела вне себя, ищет себе незатопимого берега. И в этом разливе наша душа требует закона, меры и формы; и когда находит, то врастает в эту форму свободно, вливается в нее целиком, блаженно вкушает ее силу и являет миру невиданную красоту...

Что есть форма? Грань в пространстве; мера и ритм во времени; воля, закон и долг в жизни; обряд в религии. Всмотритесь в линии нашей иконы; в завершенные грани наших храмов, дворцов, усадеб и изб;

почувствуйте живой, неистощимый ритм нашего стиха, нашей музыки, нашей свободно творимой пляски — все это явления свободы, нашедшей свой закон, но не исчерпанной и не умерщвленной им. Так в старину облик царя венчал собою свободное биение народной жизни, но не подавлял и не умерщвлял его; ибо народ свободно верил своему царю и любил его искренно, из глубины. Так православный обряд наш дышит успокоением и свободой в своей завершенности, цельности, и гармоничной, мерной истовости.

Не разрешена еще проблема русского национального характера; ибо доселе он колеблется между слабохарактерностью и высшим героизмом. Столетиями строили его монастыри и армия, государственная служба и семья. И когда удавалось им их дело, то возникали дивные, величавые образы: русские подвижники, русские воины, русские бесребреники, претворявшие свой долг в живую преданность, а закон — в систему героических поступков; и в них свобода и дисциплина становились живым единством. А из этого рождалось еще более высокое: священная традиция России — выступать в час опасности и беды добровольцем, отдающим свое достояние и жизнь за дело Божие, всенародное и отечественное... И в этом ныне — наша белая идея.

Наша родина дала нам духовную свободу; ею проникнуто все наше лучшее, все драгоценнейшее — и православная вера, и обращение к царю, и воинская доблесть, и наше до глубины искреннее, певучее искусство, и наша творческая наука, и весь наш душевный быт и духовный уклад Изменить этой свободе — значило бы отречься от этого дивного дара и совершив предательство над собою. А о том, как понести бремя этого дара и отвратить опасности на нашем пути — об этом должны быть теперь все наши помыслы, к этому должны быть направлены все наши усилия. Ибо, если дисциплина без свободы мертвa и унизительна, то свобода без дисциплины есть соблазн и разрушение.

Москвин – Текст про подаренную книгу

Обед прошел легко, весело, и Софья Васильевна была рада этому: пусть Михаил так и уедет — последнее воспоминание всегда живуче.

Но не весь день был такой. После затянувшегося обеда Витю уложили спать, прилег и Всеволод, свесив большие ноги за край дивана, Лиза пошла на почту купить для отца конвертов на дорогу.

– Ну, вот и хорошо, – сказал Михаил. – Все в отсутствии.

Пойдем – ка ко мне.

Он принес из передней в свой кабинет припрятанные свертки и развернул их. Книга в синем переплете с серебряной надписью «Седов», отрез темно – синей шелковой материи и маленькие желтые ботинки.

– Понимаешь, тут без меня будут дни рождения, и ребятам важно, чтобы и от отца тоже... Ну, а это тебе, – он показал на шелк, – к тридцатому сентября.

Только Софья Васильевна, зная отвращение мужа к покупкам, к магазинной толкотне, могла оценить это. А тут было даже большее: по военному времени следовало еще раздобыть ордера, не забыть промтоварные «единички»... Блестя глазами, она обняла его и поцеловала, приговаривая: «Смотри, не забыл! Не забыл!» Чтобы сделать ему приятное, все рассмотрела отдельно, а материю даже приложила к себе, похвалила. Ботинки для Вити ей показались велики, но она тотчас успокоила Михаила: это не страшно – нога вырастет.

– Погоди! Зачем ей вырастать? – Он остановил ее. – То есть она должна вырасти, но ты меня не поняла... Это к Витиному дню рождения, к маю. Чуть не год еще! Тогда дашь ему – и будет как раз по ноге.

И это было трогательно: предусмотрел... Но она поняла и другое: сейчас август, значит, Михаила не будет и в мае. Как долго!.. Слезы подступили к глазам, и она, будто рассматривая подкладку на желтеньких ботинках, склонилась над ними. Он понял все, но ничего не сказал. С минуту они стояли молча друг против друга, оба одного

роста, но Софья Васильевна, как женщина, казалась выше.

– Ничего, Сонечка, ничего! – Он привлек ее к себе, и ботинок в ее руках чуть уперся ему в грудь. – Ехать надо. – Он поцеловал ее в склоненную голову. – Должен ехать... Все ведь так!.. Ну, а будет все хорошо. Война теперь уже легче – фашистов погнали. Ты ботинки спрячь, – может, я и сам Вите их подарю.

...Милый! Успокаивал... Нет, дарила сыну она – еще в марте пришло извещение...

Потом был вокзал, вагоны, неверный, раскачивающийся вокзальный свет. И последним видением – Михаил в мешковатой для него военной форме, стоящий на площадке, и Сева с протянутой бутылкой нарзана, шагающий за тронувшимся уже вагоном.

И, когда вернулась домой, первым чувством было: дети остались одни, без отца...

Так и было. Дети подросли, а от Михаила только одно: «Без вести»...

У Лизы об отце были короткие, разрозненные воспоминания детства.

Память приносила то одно, то другое: елка в Доме союзов, большой, необыкновенный гриб, найденный вместе, отец за микроскопом, а она подсовывает ему школьную задачку, или в отсутствие мамы они что-то готовят на кухне...

Она видела отцов своих подруг. У Светланы был замкнутый, неразговорчивый и, наверное, решительный, строгий отец – Светлана его побаивалась. У Вари – шумный, веселый, все спорилось у него в руках: чинил дома электрические плитки, лихо красил забор на даче, ходил бойко, нараспашку.

У нее же был совсем другой отец. Все, что порознь Лиза помнила о нем, сливалось в общее чувство: добрый и неумелый. Со слов матери она знала, что отца ценили на работе, по в малом было другое: на елке в Доме союзов отец подарок для Лизы прозевал, маляры и

монтеры ему грубили, плиток и замков не чинил. Нет, на Вариного папу он совсем не был похож. А как они однажды стряпали с ним! Мама ушла с Витей в Сокольники на целый день и оставила инструкцию об обеде. И все же был чад от пригоревших макарон и сквозь чад мелкое – словно грызут семечки – потрескивание эмали в сухой, накаленной кастрюле. «Эх, что–то мы ничего не умеем!» – сказала Лиза. Она взяла вину на себя: ей было тогда одиннадцать лет, пора бы уже уметь. Но отец не принял ее великодушия. «Это все, Лизок, оттого, – сказал он, – что на настоящей военной службе я не был,

всего – навсегда призывался на переподготовку. А настоящая, говорят, для житейских дел просто университет. Уж если, например, солдат пуговицу пришьет – волк не отгрызет...» И все же он, конечно, был лучше тех, с плитками, с заборами, с пуговицами. Он был добрый, она любила его, и, главное, он был не чей – то, а ее.

И не чей – то, а ее уехал. Походил с провожающими по платформе, поулыбался, как – то незаметно попрощался – и уже в вагоне на площадке... Поезд трогается, она и мама идут следом, догоняет дядя Сева с протянутой темной бутылкой, киоск, фонарь, косой свет, на миг его взгляд поверх очков – опять косой свет.

Кручин – Текст про Вятку

Уже давно меня никуда не тянет, только на родину, в милую Вятку, и в Святую землю. Святая земля со мною в молитвах, в церкви, а родина... родина тоже близка. И если в своем родном селе, где родился, вырос, откуда ушел в армию, в Москву, бываю все–таки часто, то на родине отца и мамы не был очень давно. И однажды ночью, когда стиснуло сердце, понял: надо съездить. Испугался, что вскоре не смогу одолеть трудностей пути: поездов, автобусов, пересадок. Надо ехать, надо успеть. Туда, где был счастлив, где родились и росли давшие мне жизнь родители. Ведь и отцовская деревня Кизерь, и мамина Мелеть значили очень много для меня. Они раздвинули границы моего детства, соединили с родней, отогнали навсегда одиночество; в этих деревнях я чувствовал любовь к себе и отвечал на нее любовью.

Нынче летом, выскочив на несколько дней в Вятку, я сорвался вдруг и

кинулся на автовокзал, взял билет до Уржума, бывшего уездного, ныне районного города. А там надо было одолеть восемнадцать километров до родины отца, а оттуда ехать до Малмыжа, тоже райцентра, там переправиться через Вятку и добраться до родины матери. Все эти пространства я надеялся одолеть кавалерийским насоком.

Стояла жара. Она пришла после дождей, и ее сопровождало сильное парение от разогретой влажной земли. Срывались краткие грозы. Страшно сказать: я не был в Уржуме тридцать пять лет, а тогда приезжал, когда писал "Ямщицкую повесть". Это был мой поклон дедам-ямщикам, которые своими трудами нажили состояние, за что их большевики спровадили в Нарымский край. Но и эта боль опять же давно улеглась, а состояние – двухэтажный каменный дом, выстроенный на огромную (десять дочерей, один сын) семью, хотелось навестить. Именно в этот дом я приезжал совсем мальчишкой к деду в то лето, когда у него гостила городская дочь, моя тетка, с детьми. Дедушке по возвращении из сибирской ссылки разрешили жить в крохотной комнате внизу, хотя дом стоял пустым, а городским гостям из милости выделили комнаты на втором этаже. В то лето, после девятого класса, я работал на комбайне помощником, а как раз пошли дожди, уборка остановилась, и я стал проситься навестить городскую родню.

Отец одобрил мой порыв. Он как-то даже вдохновился: сел, на тетрадном листке начертил схему, как дойти от пристани на Вятке до его деревни. Вообще он был молчалив, мало говорил с нами, иногда даже забывал, кто из нас в какой класс перешел. Идет на сенокос, широко шагает, мы вприпрыжку за ним. Но о своем детстве говорил как о сказочном. Как они катались с гор на ледянках, какие были ярмарки, какие лошади в ночном, как неслась по Казанскому тракту почта ("Царь с дороги – почта едет!"), какая была добрая бабушка Дарья, как его баловали его десять сестер. Отец договорился со знакомым шофером, который довез меня до пристани Аргыж; на ней я купил билет в четвертый класс парохода "Чуваш-республика". Ближе к ночи он показался из-за поворота, вскоре, гудя и дымя, причалил к мокрому дебаркадеру. На пароходе я был впервые в жизни. Всю ночь восторженно бродил по нему. Он казался огромным.

Я был сельским и стеснительным, но мне ни разу не сказали, что куда-то нельзя входить, и я все смелее осваивал плывущее над водой пространство. Как шумно и трудолюбиво вращались деревянные колеса в кипящей воде, как расступалась вода и долго-долго журавлиным клином торопилась за нами. Подолгу стоял, и меня не выгоняли, в машинном отделении, смотрел, как взмывал и опускался громадный шатун, вращающий толстенный, залитый янтарным маслом стальной вал; именно на него по бокам были надеты старательные колеса. Мне очень хотелось помочь кочегару, черному, голому по пояс мужчине – уж я бы смог заталкивать в пылающую топку огромные поленья, – но опять же постеснялся. А ведь я уже знал устройство и трактора, и комбайна – но тут была такая неподступная громада!

Мы шли против течения. Была светлая, прохладная ночь, но я даже и спать нигде не приткнулся, хотя у теплой необхватной трубы было место. Стоял у влажных поручней, глядел то на близкий, то на отдаляющийся берег, на глинистые или песчаные берега, то травяные, то заросшие лесом, запрокидывал голову и смотрел на поворачивающиеся вместе с палубой звезды. Из трубы летел освещаемый изнутри искрами дым, и иногда при крутом завороте он обдавал палубу и приятно согревал. Часто то длинно, то коротко ревел пароходный гудок.

На пристани Русский Турек, на рассвете, я выскоцил и побежал, как объяснил мне отец, в гору. "На горе кладбище, с него увидишь Кизерь".

Паустовский – Текст про силу

(1) Примерно в миле от Таганрога в открытом море стояла на низких скалах проблесковая мигалка. (2) Её звали Черепахой.

(3) Я часто ездил к Черепахе. (4) В тихую погоду я привязывал шлюпку к её железной решётке и удил с борта рыбу.

(5) Однажды я увлёкся рыбной ловлей и не заметил, как подошли сумерки.

(6) Я сидел спиной к открытому морю и вдруг услышал тихий набегающий гул.

(7) С моря шёл ветер. (8) Серая мгла висела по горизонту. (9) В ней мутно блеснула молния. (10) Вода вокруг сразу покернела и пошла железной рябью.

(11) Я отчалил от Черепахи и начал грести к Таганрогу. (12) Ветер свежел с такой быстротой, что уже через несколько минут волны начали захлёстывать в шлюпку.

(13) Как часто бывает на море, ветер стал поворачивать, задувать от Таганрога, и меня начало сносить в открытое море. (14) С шумом и плеском прошёл рядом маленький смерч. (15) Быстро темнело. (16) Зажёгся таганрогский маяк.

(17) У этого маяка фонари были устроены так, что на разных расстояниях от порта они давали огонь разного цвета: у самого порта маяк давал красный огонь, дальше – зелёный и на самом большом отдалении – белый.

(18) Я оглянулся. (19) Маяк горел белым огнём. (20) До порта было ещё далеко.

(21) Ветер дул с бессмысленной яростью. (22) Он наскакивал порывами, круто бросался в стороны, кружился и злорадно свистел в вёслах. (23) Волны с размаху били в нос, шлюпка взлетала в темноте, и я слышал, как море тяжёлыми бросками швыряет в неё вёдра воды. (24) Ноги у меня были уже по косточку в воде. (25) Надо было её отлить.

(26) Я бросил вёсла и нашупал черпак. (27) Но волны тотчас повернули лодку бортом, меня закружило, и я понял, что первый же большой вал накроет шлюпку и перевернёт её.

(28) Я схватил вёсла и снова начал грести из последних сил. (29) Мокрая рубаха прилипла к телу и очень мешала. (30) Руки жгло, должно быть, я сорвал на них кожу.

(31) Когда я оглянулся, маяк горел зелёным огнём. (32) Порт был уже ближе. «(33) Ещё немного, – говорил я себе. – (34) Ещё! (35) Сейчас появится красный огонь. (36) Тогда ты спасён.

(37) Я грёб и стонал от напряжения. (38) Мокрые волосы падали на глаза, но я их не откидывал – всё равно вокруг ничего не было видно, а мне нельзя было бросать вёсла хотя бы на секунду: тотчас ветер отжимал шлюпку далеко назад. (39) Я оглянулся и выругался: маяк снова горел белым огнём! (40) Меня быстро сносило, и не было, казалось, никакой силы, чтобы продвинуть шлюпку против этого неистового ветра.

(41) Тогда я бросил вёсла и снова начал отливать воду. (42) Странное безразличие охватило меня. (43) Я отливал воду и почему-то вспомнил вдруг маму, узкую уложку в Люблине, где я рвал для Лёли холодную сирень, тёплую женскую ладонь, ласково погладившую меня по щеке.

(44) Я на время как будто оглох и ослеп. (45) Когда я поднял голову, огонь маяка висел на самом горизонте. (46) Он был похож на тонущую звезду.

(47) Я взялся за вёсла и начал грести медленно, равномерно, в оцепенении.

(48) Меня удивляло, что я ещё не утонул.

(49) Я оглянулся и увидел зелёный огонь. (50) Тогда меня охватила непонятная ярость. (51) Я начал грести с такой силой, что трещали вёсла. (52) Я грёб стоя, грёб всей тяжестью своего тела.

(53) Неожиданно я услышал за спиной новый осатанелый рёв, оглянулся и увидел красный огонь маяка. (54) Порт был рядом.

(55) Я определил по огням, куда меня отшибают волны, и начал бешено грести.

(56) Чтобы было легче, я кричал.

(57) Белый яркий свет вспыхнул над головой. (58) Я, конечно, не мог догадаться, что это осветительная ракета и что меня заметили с мола.

— (59) Эй, на шлюпке! (60) На шлюпке!

(61) На молу махали фонарём. (62) Я подвёл шлюпку на свет фонаря, к каменной лестнице, и бросил вёсла.

(63) Из шлюпки меня вытащили портовые сторожа, отвели в караулку, и там при слепящем свете электрической лампы я увидел себя — изорванного, мокрого насеквоздь, с окровавленными синими руками.

(64) Счастливчик, — сказал мне седой смотритель порта со свирепыми бровями. — (65) Почему вы вышли в море, когда с двух часов дня были подняты штормовые сигналы?

— (66) Я не умею разбираться в сигналах, — сознался я.

— (67) Так вот, — сказал смотритель порта, — запомните, что каждому человеку надо понимать штормовые сигналы. (68) И на море, и в собственной жизни. (69) Во избежание непоправимых несчастий.

(По К. Г. Паустовскому*)

Белов – Текст о народной жизни

Стихия народной жизни необъятна и ни с чем не соизмерима. Постичь ее до конца никому не удавалось и, будем надеяться, никогда не удастся.

В неутолимой жажде познания главное свойство науки — ее величие и бессилие. Но для всех народов Земли жажда прекрасного не менее традиционна. Как не похожи друг на друга две эти человеческие потребности, одинаковые по своему могуществу и происхождению! И если мир состоит действительно лишь из времени и пространства, то, думается, наука взаимодействует больше с пространством, а искусство со временем...

Народная жизнь в ее идеальном, всеобъемлющем смысле и знать не знала подобного или какого-либо другого разделения. Мир для человека был единое целое. Столетия гравировали и шлифовали жизненный уклад, сформированный еще в пору язычества. Все, что было лишним, или громоздким, или не подходящим здравому смыслу, национальному характеру, климатическим условиям, — все это отсеивалось временем. А то, чего недоставало в этом всегда стремившемся к совершенству укладе, частью постепенно рождалось в глубинах народной жизни, частью заимствовалось у других народов и довольно быстро утверждалось по всему государству.

Подобную упорядоченность и устойчивость легко назвать статичностью, неподвижностью, что и делается некоторыми «исследователями» народного быта. При этом они намеренно игнорируют ритм и цикличность, исключающие бытовую статичность и неподвижность.

Ритм — одно из условий жизни. И жизнь моих предков, северных русских крестьян, в основе своей и в частностях была ритмичной. Любое нарушение этого ритма — война, мор, неурожай — лихорадило весь народ, все государство. Перебои в ритме семейной жизни (болезнь или преждевременная смерть, пожар, супружеская измена, развод, кража, арест члена семьи, гибель коня, рекрутство) не только разрушали семью, но сказывались на жизни и всей деревни.

Ритм проявлялся во всем, формируя цикличность. Можно говорить о дневном цикле и о недельном, для отдельного человека и для целой семьи, о летнем или о весеннем цикле, о годовом, наконец, о всей жизни: от зачатья до могильной травы...

Все было взаимосвязано, и ничто не могло жить отдельно или друг без друга, всему предназначалось свое место и время. Ничто не могло существовать вне целого или появиться вне очереди. При этом единство и цельность вовсе не противоречили красоте и многообразию. Красоту нельзя было отделить от пользы, пользу — от красоты. Мастер назывался художником, художник — мастером. Иными словами, красота находилась в растворенном, а не в кристаллическом, как теперь, состоянии.

Меня могут спросить: а для чего оно нужно, такое пристальное внимание к давнему, во многом исчезнувшему укладу народной жизни? По моему глубокому убеждению, знание того, что было до нас, не только желательно, но и необходимо.

Молодежь во все времена несет на своих плечах главную тяжесть социального развития общества. Современные юноши и девушки не исключение из этого правила. Но где бы ни тратили они свою неуемную энергию: на таежной ли стройке, в полях ли Нечерноземья, в заводских ли цехах — повсюду молодому человеку необходимы прежде всего высокие нравственные критерии... Физическая закалка, уровень академических знаний и высокое профессиональное мастерство сами по себе, без этих нравственных критериев, еще ничего не значат.

Но нельзя воспитать в себе эти высокие нравственные начала, не зная того, что было до нас. Ведь даже современные технические достижения не появились из ничего, а многие трудовые процессы ничуть не изменились по своей сути. Например, выращивание и обработка льна сохранили все древнейшие производственно-эстетические элементы так называемого льняного цикла. Все лишь ускорено и механизировано, но лен надо так же трепать, прядь и ткать, как это делалось в новгородских селах и десять веков назад.

Культура и народный быт также обладают глубокой преемственностью. Шагнуть вперед можно лишь тогда, когда нога отталкивается от чего-то, движение от ничего или из ничего невозможно. Именно поэтому так велик интерес у нашей молодежи к тому, что волновало дедов и прадедов.

Так же точь-в-точь и будущие поколения не смогут обойтись без ныне живущих, то есть без нас с вами. Им так же будет необходим наш нравственный и культурный опыт, как нам необходим сейчас опыт людей, которые жили до нас.

Сагалович – Текст о патриотизме

ТЕКСТ ПРИМЕРНЫЙ

Раз уж упомянул слово «патриот», то как раз время сказать о патриотизме. Однажды, осенью 1943 г., в Моршанском училище вечером незадолго до отбоя к нам во взвод пришел зам. командира

батальона по политчасти, ст. лейтенант Журавлев и завел беседу о том о сем, как умели профессиональные политработники, и незаметно, плавно подошел к теме патриотизма. «Вы — курсанты, в чем состоит ваш патриотизм?» На наших курсантских лицах — замешательство. Разумеется, мы все считали себя патриотами, но ответить на конкретный вопрос, в чем состоит именно наш патриотизм, не могли. В самом деле, на фронте воюют, не щадят своей крови, в тылу строят танки и самолеты, куют победу. А мы? Дармоеды! Нас кормят по девятой, курсантской, норме; это значит, что на завтрак нам полагается 20 граммов сливочного масла и белый (!) хлеб, в то время как гражданские люди по своим продовольственным карточкам отнюдь не сыты. А мы только и делаем, что наступаем на воображаемого противника, «ведем огонь» по мнимым целям, только подавая команды и не производя реальных выстрелов, и уж если стреляем на стрельбищах боевыми патронами и минами, то считаем каждый боеприпас на вес золота. Кроме того, ходим строевым шагом, чистим наши минометы и карабины и т. д. Нами одолело смущение. Мы не почувствовали за собой значимых дел! Мы инстинктивно понимали, что на одних только словах патриотизма быть не может. Либо ты воюешь, либо ты льешь сталь или выращиваешь хлеб. А если ты ни того ни другого не делаешь, то ты нуль. Конечно, замполит разъяснил нам, что наш патриотизм — в качественной учебе. От нас ждут умелого командования своими подразделениями на фронте, куда мы скоро отправимся, и именно учебе мы обязаны отдавать все свои силы. Мы, наконец, заняли свою нишу в общей системе патриотизма, и нам больше не должно быть стыдно нашего «дармоедства». Свой долг мы отдадим, и очень скоро.

Таким образом, главное, что стало подчеркнуто точным: патриотизм — в деле. Либо ты действительно патриот, и тогда ты по-настоящему делаешь свое дело, не нуждаясь в словесном аккомпанементе к своему патриотизму, либо ты работаешь тяп-ляп, но тогда не рассчитывай, что тебя признают патриотом, как бы ты ни распинался в любви к родине. Всякий, кто делал и делает патриотизм своей профессией, тот гроша ломанного не стоит. Разве что, выкрикнув раньше всех «я патриот», будет размахивать своим патриотизмом как дубиной, возомнит, что обрел власть над другими (которых он

норовит обвинить уже в том, что опоздали).

Есть однако у проблемы патриотизма и другой куда более серьезный аспект. У любви к родине две стороны: субъект (это ты) и объект (это твоя родина). Вторая сторона может быть матерью, а может быть мачехой. После войны я не раз призывался на кратковременную военную переподготовку. Помню как в самом начале сбора в академии им. Фрунзе всех призванных на сбор офицеров запаса усадили на идеологическую лекцию, и лектор говорил, что когда солдатам армий капиталистических стран внушают любовь к родине, то это «большая ложь». Им, солдатам, родина не принадлежит, а принадлежит она правящему классу, богатым.

И какой же цепочкой силлогизмов вывести мне теперь способ и правила моего патриотического или, может быть, наоборот, тьфу ты, антипатриотического поведения?! Могут ли здесь помочь формально-логические рассуждения?

Не слишком ли часто я вспоминаю про возможность гибели, не есть ли это признак преувеличенной заботы о своей собственной плоти? И еще. Порой мною овладевает невыразимое изумление, граничащее с физическим ощущением неправдоподобия моего существования. Я столько раз мог быть убитым прямо с точным указанием именно того момента неизбежной гибели, что невозможно объяснить, почему я жив.

Патриот ли ты, если ставишь на одну доску и Великую Победу и свою трепещущую плоть. А я и не ставлю. Не продал же я Родину, чтобы сохранить свою жизнь. Но радоваться, что выполнив свой долг, ты еще и остался жить, никому не заказано. Быть может, у маршала не было особенной радости за его сохранившуюся жизнь. Но для солдата переднего края — это естественно и не стыдно!

Белов – Текст о великом искусстве и таланте

ТЕКСТ ПРИМЕРНЫЙ

Великое искусство потому и зовут великим, что оно понятно для всех, по крайней мере, для большинства. Вовсе не обязательно быть докой-специалистом, чтобы читать “Войну и мир” или смотреть и слушать “Лебединое озеро”. Сложностью и недоступностью формы не так уж и редко маскирует посредственный художник недостаток

таланта. Это не означает, что произведения великих, гениальных художников никогда не бывают сложными и непонятными. Разница между сложностью малоталантливого и сложностью гениального художника скорей всего в том, что в первом случае сложность топчется на одном месте, она статична, во втором — она движется, самораскрывается, обнаруживая все новые возможности произведения.

Восприятие художественного образа по сути и качественно то же, что и его создание. Разница здесь, вероятно, лишь в масштабности... Несомненно, во всяком случае, то, что восприятие образа процесс также творческий. Именно это-то обстоятельство и таит в себе великую опасность культурного иждивенчества.

Под маской скромности (где уж нам, дескать?) таится обычная трусость либо обычная лень, и человек лишь пользуется созданными до него художественными ценностями, даже не пытаясь создать что-то свое. Пусть не гениальное, но свое! Пресловутый максимализм (либо стать Микеланджело, либо совсем не заниматься творчеством) никогда не содействовал благу общенародной культуры.

Игнорировать собственный талант (какой бы он ни был по величине) на том основании, что есть люди способней тебя, глушить в себе творческие позывы так же безнравственно, как безнравственно заниматься саморекламой, шумно преувеличивая собственные, нередко весьма средние возможности.

“Уничтожение паче гордости”, — говорится в пословице. Найти свое лицо — нравственная обязанность каждого. Но к лицу ли человеку подобострастие? Растерянность перед более талантливым унижает и того и другого. Настоящий художник ждет от других не подобострастия, а обычного уважения. Ему совсем незнакомо чувство собственного превосходства. Чем больше талант, тем меньше высокомерия и гордости у его обладателя. Между величиной таланта, силой художественного образа и уровнем нравственности существует самая прямая зависимость. Стыд, совесть, целомудрие, духовная и физическая чистота, любовь к людям, превосходное знание разницы между добром и злом — все эти нравственные свойства художника отражает питаемый им

художественный образ. Художественный образ не может быть создан бесстыжим, бессовестным художником, человеком с грязными руками и помыслами, с ненавистью к людям, человеком, не знающим разницы между добром и злом. Да и вообще, возможно ли подлинное творчество в неспокойном или злом состоянии? Вряд ли... Злой человек склонен более к разрушению, чем к творчеству, и нельзя путать вдохновение созидателя с геростратовским...

Подлинный художественный образ всегда нов, то есть стыдлив, словно невеста, целомудрен и чист. Свежесть его ничем не запятнана. Настоящий художник, как нам кажется, тоже стыдлив, ведь и само творчество требует уединения, тайны. Вынашивание и рождение образа не может совершаться публично, у всех на виду. Публичным, известным всем или множеству должно стать впоследствии творение художника, но отнюдь не он сам. Не потому ли гениальные творения древних русских живописцев не подписаны? Древние художники и архитекторы предпочитали остаться безвестными. Ведь значит же что-то это известное и совсем не случайное обстоятельство.